

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИОГРАФИИ

Б. А. РОМАНОВ

ИЗЫСКАНИЯ О РУССКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА *

(По поводу работ Н. Н. Воронина
и С. Б. Веселовского)

Проблема русского сельского поселения докапиталистической эпохи, неоднократно затрагивавшаяся и в работах буржуазных историков, впервые — в советской историографии — выдвинута теперь Государственной академией истории материальной культуры в ее «Известиях» в монографическом виде, в двух специальных исследованиях Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского.¹ Одновременное появление двух монографий на одну и ту же тему свидетельствует, следует отметить, о некоторой победе планового начала в движении нашей исторической науки, и уже одно это побуждает отнестись с особым вниманием к названным работам. Академия совершенно сознательно и открыто подошла к проблеме, так сказать, с двух флангов. Работа Н. Н. Воро-

* Исследование Б. А. Романова было написано им в 1936 г. и осталось неопубликованным при жизни автора. В настоящем томе «Трудов ЛОИИ» работа публикуется в том виде, в котором она сохранилась в архиве Б. А. Романова. При этом редакция сознает, что отдельные моменты работы, написанной 23 года назад, частью устарели, частью не учитывают исследований, осуществленных и опубликованных после 1936 г. Однако посмертный характер публикации исключает возможность того, что, несомненно, сделал бы сам автор, т. е. необходимого пересмотра или уточнения устарелых положений и введения нового материала. Вместе с тем редакция считает нужным подчеркнуть не только большой историографический интерес исследования Б. А. Романова, представляющего собой новый этап в разработке истории сельских поселений по сравнению с работами Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского, но и то, что в основном и главным работа Б. А. Романова сохраняет научное значение и в настоящее время.

¹ Н. Н. Воронин. К истории сельского поселения феодальной Руси. Погост, слобода, село, деревня. Известия ГАИМК, вып. 138, Л., 1935, 75 стр.; С. Б. Веселовский. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. Известия ГАИМК, вып. 139, М.—Л., 1936, 148 стр.

нина, по мнению редакции «Известий», «несмотря на известную неполноту охвата источников и спорность ряда развиваемых положений», является «попыткой подойти к проблеме сельского поселения в феодальной Руси по-новому, с учетом того, что сделано марксистской историографией по разработке истории феодализма в России», и «представляет ценность как общий очерк типов сельского поселения феодальной Руси в их историческом развитии». ² Наоборот, работа С. Б. Веселовского, крупнейшего давнего знатока документов экономической истории докапиталистического периода, выдвигается редакцией как специальное «конкретное» исследование, исключительно богатое по материалу, но настолько чуждое новым частным установкам и марксизму вообще, что аргументировать против «гальванизируемых» автором «несостоятельных» «идей» нет и нужды. ³ Однако редакция не ограничилась этой общей методологической оценкой названных работ, а вступила отчасти в дискуссию и по существу некоторых частных положений, в них высказанных, и, таким образом, читателю, заинтересовавшемуся проблемой, приходится обращаться со своими замечаниями, возражениями, вопросами и недоумениями уже не по двум, а по трем адресам. Разбор названных работ и у нас не обойдется без некоторых замечаний по поводу предисловий, предпосланных им редакцией.

Н. Н. ВОРОНИН. «К ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ РУСИ»

Постановка темы

Сам автор «общего очерка» удержался дать ему соответствующее «общее» название и озаглавил его скромно: «К истории сельского поселения», придав ему «форму отрывочных, часто слишком общих и спорных глав, отнюдь не развертывающих всей картины в целом» (стр. 12). ⁴ Таковую же скромность обнаружил Н. Н. Воронин и в определении задачи своего очерка: это всего лишь «постановка на обсуждение» одного из важнейших вопросов истории феодальной Руси (стр. 9), при невозможности для автора (пока?) «дать строгую историческую конкретность процесса» «развития сельского поселения» (стр. 12). Это последнее обстоятельство, по-видимому, послужило причиной и некоторого колебания и неотчетливости автора и в определении предмета своего исследования. То это — «проблема

² Н. Н. Воронин, ук. соч., стр. 7, 8.

³ С. Б. Веселовский, ук. соч., стр. 7—9.

⁴ Как в данном случае, так и в дальнейшем все ссылки на страницы рецензируемых работ даются Б. А. Романовым в тексте. (Прим. ред.).

сельского поселения феодала и крепостного, господского двора-замка — с одной стороны, „деревни“ и крестьянского двора — с другой», вне каких-либо хронологических и территориальных границ (стр. 9). То это — «освещение феодальной деревни (уже без кавычек! — *Б. Р.*) Северо-Восточной Руси в хронологических пределах до XV века (включительно? — *Б. Р.*), а исторически — в период стабилизированных феодальных отношений на территории преимущественно Северо-Восточной Руси» (стр. 9; разрядка наша, — *Б. Р.*). То это — «развитие сельского поселения (уже не «деревни» и не просто деревни, и уже не «преимущественно», а просто, — *Б. Р.*) Северо-Восточной Руси в XI—XV вв.» (стр. 12): оказывается, «стабилизация» феодальных отношений ведет свое начало с XI в. То это — «тот период русской истории, который мы условно ограничиваем XII—XV вв.» и который «является периодом консолидации (уже не «стабилизации», — *Б. Р.*) феодальных отношений», и к XII, а не к XI в. «господствующим видом поселения становится открытая „деревня“ (опять в кавычках, — *Б. Р.*), заимка отдельной семьи» (стр. 16).

Следя за этими попытками автора нащупать свой объект во времени и пространстве, читатель вправе все же ожидать, что и конечная дата исследования будет так или иначе объяснена автором: хотел ли Н. Н. Воронин дать понять, что период «стабилизированных» или «консолидированных» феодальных отношений в Северо-Восточной Руси кончился в XV в., а дальше началось их разложение, или что-нибудь еще иное?

Во всяком случае такое, во всех четырех приведенных случаях твердое, определение конечной грани исследования тем более требовало объяснения, что сам же автор, жалуясь на скудость материала, признал для себя принудительной («придется») необходимость «использовать преимущественно данные позднейших источников, заходя в их поисках в XVI и даже XVII век» (стр. 10) — точно в запретную зону. А до тех пор, пока это не объяснено, читатель, дочитавший книгу до конца, останется в убеждении, что автор или допустил выше трехкратную опечатку, или в процессе написания работы изменил своей периодизации и попросту довел свое исследование до XVI в. включительно, отнюдь не выискивая в нем один только пережиточный материал, а используя его весь без разбора (гл. IX так и озаглавлена: «Село XV—XVI вв.», стр. 65 и сл.).⁵

⁵ Едва ли здесь налицо опечатка. Но с опечатками в этом выпуске «Известий» не совсем благополучно. Три пустяковых отмечены на вкладной полоске. Зато пропущены, например, такие: стр. 16, строка 10 сверху — «Чечулин не скрывает за средними цифрами резкой противопо-

Неотчетливость в определении предмета исследования, однако, этим не ограничивается. Автор отмечает, что вопрос о развитии сельского поселения был «мало актуален в рамках дореволюционной историографии», в частности историки и не пытались «посмотреть» на «различия наименований» сельских поселений «в их историческом развитии» и «найти общую основу последовательного появления и смены различных форм сельского поселения» (стр. 12—13; разрядка наша, — Б. Р.). Подчеркнутое и есть «основной вопрос», который ставит перед собой и пытается разрешить Н. Н. Воронин

Следовательно, во-первых, в этом «основном вопросе» у Н. Н. Воронина не было предшественников. А даваемый им суммарный и краткий обзор «основных источников»: письменных, «дающих ничтожно малый материал», археологических, дающих «пока первичные отрывочные данные», и этнографических, представляющих «скопление» «сырого» материала, — приводит автора к печальному заключению, что этот основной вопрос не может быть разрешен со всей необходимой полнотой (стр. 10—12). Скучность материала не вина автора. Но скучность материала и не беда его одного. Решительно все исследователи любых проблем эпохи раннего феодализма имеют дело с этой скучностью, и это не мешает в сотый раз переворачивать давно известные источники и из крупиц строить и перестраивать наши исторические представления об этой эпохе. Преимущество автора перед другими заключается здесь именно в том, однако, что он поставил перед собой не заезженный «основной вопрос» и получил возможность давно, за малыми исключениями, переизвестный материал пересмотреть для новых надобностей.

Следовательно, во-вторых, читатель вправе ждать в обращении с этим крупитчатым материалом величайшей четкости и внимания и ясного его показа, который только и может сделать убедительными общие выводы автора. А гипотезы, для которых у автора не хватает материала, в таком случае читатель и будет оценивать особо, как ясно очерченные гипотезы, по их рабочему значению. Казалось бы, чего и требовать с предшественников, раз их не было, в этом «основном вопросе» исследования нашего автора? И казалось бы, вот чего только и можно требовать от нашего автора при скучности материала.

ложности», следует «не вскрывает»; стр. 22, в тексте — Неволин, в примечаниях же дважды дана ссылка на Папкова, «Русский Вестник», 1898; стр. 45, строка 6 снизу — «изоима Ротовце в Белозерци», следует «изъима Ростовци и Белозерци».

Сам автор, однако, по обоим пунктам, по-видимому, думает иначе. По пункту первому, после всего вышеизложенного, он говорит: «казалось бы, исследования, посвященные специально рассмотрению проблемы города и деревни ... должны были разрешить данный вопрос» (т. е. именно «основной вопрос» автора). Как же это так? Только успел Н. Н. Воронин убедить читателя, что даже в 1934 г. автор, первый взявшийся за указанный «основной вопрос», несмотря на все свое желание, по состоянию источников, не в силах его разрешить, — а авторы, писавшие десятилетия тому назад, выходит, «должны» были его разрешить! Скажи это автор до признания собственной неполной удачи, мы имели бы здесь простибельный литературный оборот речи. Но после этого признания — это литературный прием неудачный и вредный, возводящий дореволюционных историков в каких-то чудодеев по части вопросов, неразрешимых полностью даже в 1934 г. Н. Н. Воронин имеет здесь в виду Н. А. Рожкова («Город и деревня в русской истории») и В. П. Семенова-Тян-Шанского («Город и деревня в Европейской России»), которым и посвящает несколько критических замечаний.

При этом относительно Н. А. Рожкова выясняется, что он, во-первых, «не знает различия сельских поселений и совершенно не касается этого вопроса», во-вторых, «перевертывает на голову классовые противоречия» и, в-третьих, «игнорирует растущее противоречие между городом и деревней». Н. Н. Воронин считает, что это и есть «основные выводы, которые нужно сделать» — для его темы — «из книги Рожкова» (стр. 14; разрядка наша, — Б. Р.).

Для чего ему «нужны» эти «выводы», автор прямо не говорит. Но приходится думать, что именно этих пороков и считает нужным избежать в своей работе сам автор. Первых двух ему и удастся избежать, хотя некоторый след прегрешения в стиле второго нам и придется отметить в дальнейшем изложении. Что же касается третьего, то при самом внимательном изучении исследования Н. Н. Воронина не видно, чтобы рост противоречия между городом и деревней сыграл какую бы то ни было плодотворную роль в построении эволюции типов сельского поселения, какое дает автор.

Из изложения автора явствует, однако, сверх того, что Рожков «различал (для XIII—XVI вв.) территориально три района: северный, новгородско-псковский и центральный», и мы вправе были бы ожидать, что это обстоятельство попадет четвертым номером в «выводы», «нужные» для работы Н. Н. Воронина — с положительным или отрицательным знаком, это уже его авторское дело. Если бы Н. Н. Воронин сде-

лал этот четвертый «вывод» (единственный, в сущности, полезный для отчетливости его работы), то ему, может быть, удалось бы избежать описанных колебаний в определении интересующей его территории. Он его не сделал, и, как увидим дальше, в процессе работы автора территориальная четкость исследования сменилась расплывчатостью, которую преодолеть приходится читателю собственными усилиями, без помощи автора.

«Особого внимания» заслуживает, по мнению Н. Н. Воронина, книга В. П. Семенова-Тян-Шанского. Читатель, незнакомый с этой книгой, из критического изложения ее Ворониным может убедиться, что это географическое исследование, устанавливающее «географические типы» заселения: «центральный и северо-западный — водораздельный, северный — речной и озерный — долинный, южный — черноземный — долинный с их подтипами», и что «там, где слишком резко бросается в глаза несоответствие системы поселений „географическому типу“, допускаются исторические толкования». Но именно на этих исторических толкованиях Н. Н. Воронин и не останавливается вовсе, между тем как они-то и заслуживали бы здесь, надо думать, «особого внимания» и критического разбора.

В заключение же своего краткого литературного обзора (стр. 12—16) автор останавливается почему-то на работах Н. Д. Чечулина и А. С. Лаппо-Данилевского, «посвященных, — как он дает понять читателю, — городскому жилищу и двору», указывая, что «еще менее разработан вопрос о сельском поселении (до XVI в.) в отношении его вида, планировки, жилища», и даже не решаясь «упрекать историков в обходе этой темы», так как «источников по данным сторонам поселения ничтожно мало».⁶ Значит, все же они есть, и они, действительно, есть, и, значит, автор как будто склонен был расширить свое исследование, распространив его и на этот «археологический» предмет. Ничего нельзя было бы возразить против такого — пятого по счету — уточнения предмета исследования. Но относительно сельского поселения, как оказалось, это не удалось и нашему автору. «В основном, — признает он сам, — мы использовали здесь письменный источник, дополняя его другими категориями источников» (стр. 12). Эти дополнения (как увидим) мало что прибавляют к тому, что дали автору

⁶ Автор почему-то опускает в этой связи данные о северном дворе и деревне, собранные у М. М. Богословского (Земское самоуправление на русском севере в XVII в., т. I, М., 1909, стр. 147 и сл; ср. ПКМГ, ч. I, отд. II, стр. 302, 303; Шумаков, Обзор, вып. II, стр. 129). (Разрядка наша, — Б. Р.).

письменные источники, а для выяснения частных вопросов исследования оказались неэффективными.

Таковы «общие замечания», предпосланные Н. Н. Ворониным его «общему очерку». Обратимся теперь к конкретному историческому исследованию автора, чтобы посмотреть, как он выполнил отмеченные выше вторым пунктом требования, вытекающие для него из данной им же характеристики источников его работы.

«Открытая деревня, заимка отдельной семьи» и городище — временное убежище

Исходным пунктом своего исследования Н. Н. Воронин берет ту «систему поселений, связанную с дофеодальным и раннефеодальным этапом развития», которая господствовала, насколько можно понять автора, до XII столетия на всем пространстве Европейской России, и в центре которой стоял город-городище. Город — не феодальный, торгово-промышленный центр, а «городище-убежище», связанное с «открытыми деревнями» именно как «убежище» на случай опасности. Это — «система», пришедшая на смену «приречной группе укрепленных большесемейных городищ», характерной для патриархально-родового строя. В свою очередь в этой системе «господствующим видом поселения становится открытая деревня, заимка отдельной семьи», связанная «со старым» городищем как убежищем, а «на место патриархального рода становится территориальная община с малой семьей в основе».

Этот «город-городище» — которому автор посвящает особую главу (стр. 16—20), — оставаясь сельским поселением, становится предметом «освоения» в кровавой борьбе, которую принимают «феодалы» (князья) для установления своего господства и эксплуатации на территориях, в которых город был «узлом открытых поселений» и «центром выделяющегося ремесла». И именно поэтому «господствующий вид поселения» — «открытая деревня, заимка отдельной семьи» вовсе отсутствует, отмечает автор, у летописца, «княжеского историографа»: «насушные интересы» «растущих феодалов» направлены на «разгром» или «освоение» старых «городов» и на «строительство новых». Эта же «заимка отдельной семьи» не нашла себе отражения и в археологическом материале, по признанию автора (стр. 20), что все же не мешает ему утверждать, что она распространялась все «дальше и дальше», проникая «в водораздельные лесные площади, отрываясь от речных систем» и образуя «плотные массивы населения, уже не связанные с речной системой» и с укрепленными городи-

щами. Станным образом Н. Н. Воронин видит в этом «изменении географической направленности расселения» «ослабление зависимости от географической среды», и склонен приписывать это явление «более высокой технической вооруженности хозяйства (смена втульчатого топора проушным)», и не ставит его ни в какую связь с описываемым им натиском князей-феодалов на территориальные общины и обложением их данью. Выходит так, что население вступало «в борьбу с лесом» под влиянием развития техники, а не наоборот, и никак не реагировало на начинавшуюся феодальную эксплуатацию. В этой главе автор связывает ее происхождение с деятельностью рюриковичей, подчиняясь в данном случае всецело их «княжескому историографу».

В других случаях, однако, автор свободно распоряжается его сообщениями, приурочивая их к своей схеме развития сельского поселения X—XII вв., в частности к иллюстрации «системы поселения в открытых деревнях, связанных с укрепленным городищем-убежищем». Эту систему он вычитывает и из известий о лесных «твердях», куда из «сел» своих скрывается мордва при набегах русских князей в XIII в., и из известий о походах русских князей на болгар в XII в., и из преданий о покорении древлян Ольгой в X в. Если можно еще, пожалуй, с большой натяжкой, согласиться с автором относительно мордовских поселений в части, касающейся их «твердей», и взять все же под сомнение «села» в качестве односемейных заимок, то уже относительно болгар и древлян летописные тексты оказывают концепции автора плохую услугу.

Н. Н. Воронин вырывает, например, одну фразу из одного рассказа летописи о том, что посланные князем Андреем Боголюбским войска «въехаша в поганые без вести и взяша сел 6, семое город», и на этом дает повод читателю строить представление об общественном строе волжских болгар, в котором-де город имеет характер земледельческого сельского поселения дофеодальной эпохи, а не центра феодального господства над окружающим сельским населением.⁷ Между тем здесь мы имеем вовсе не типичный «грабительский набег» в «море сельских поселений», а неудавшийся большой поход «на Болгары», в котором только отказалась принять участие «дружина», а три князя, собравшись в Городце и «не дождавше» ее, «ехаша с переднею дружиною» («в мале дружине») и вынуждены были

⁷ Летопись по Лаврентьевскому списку, изд. 3. СПб., 1897 (в дальнейшем: Лавр.), 1172 г., стр. 345. — Голое и беглое цитирование летописного текста со словами Добрыни, что болгары «суть вси в сапозех» (стр. 18), не поставлено ни в какую связь с указанным представлением и не снимает его.

ограничиться описанным налетом, на который «Болгаре» ответили затем быстрой мобилизацией шеститысячной рати. Обычно же военные походы больших русских воинских сил в Болгарию были направлены на крупные городские феодальные центры, увековеченные нашей летописью поименно: это — «Великий Город»; это — «славный град Бряхимов», на пути к которому лежало еще 3 города; это — Тухчин, городок на пути к Великому Городу; это — Собекуль, Челмат, Торчский, Ошел, центры международной торговли и средоточия «бесчислена товара множества»,⁸ как в одном случае выразился летописец. «Стадиально», по выражению Н. Н. Воронина, Болгария XII—XIII вв. даже в рассказах княжеского историографа выступает на том же уровне общественного развития, что и Северо-Восточная феодальная Русь.⁹

Что касается легенды о мщении Ольги древлянам, то и здесь, чтобы отстоять свою концепцию «городищ-убежищ», центров земледельческих территориальных общин, автору приходится несколько перефразировать текст и все же, по собственному его признанию, не удается обратить Искоростень в «пустую ограду или временное убежище» (стр. 17). Рискованное дело — из подобного рода поэтических сказаний извлекать реальные бытовые черты. Но если уж извлекать, то проделывать эту операцию следует с максимальной внимательностью к точности передачи этих черт во всей их совокупности. Автор же рисует такую картину. В 948 г. (не в 946 ?) Ольга «при обложении данью» древлян встретила «организованное сопротивление»: «древляне же побегоша и затворишася в градах своих ... и боряхуся крепко из града ... и стоя Ольга лето и не можаше взяти града»; «из слов Ольги, — говорит Н. Н. Воронин, — что осажденным в Искоростене древлянам грозит голод, так как они не могут „делать нивы своя земле“, ясно, что в город сбежалось окрестное земледельческое население». Далее автор цитирует строки о поджоге Искоростеня, бегстве древлян из «града» и их судьбе и подытоживает «методы первоначального установления феодального господства на юге: город... сжигается, старейшины, „лучшие мужи иже держаху Деревьскую землю“, ликвидируются, часть населения обращается в рабство, часть оставляется для уплаты дани» (стр. 17; разрядка наша, — Б. Р.).

Никак не можем согласиться ни с такой передачей летописного текста предания, ни с тем, что здесь имеются налицо ин-

⁸ Лавр., 1164, 1184, 1220, 1229 гг.

⁹ Заметим для дальнейшего терминалогии летописи: «взяша сел б», чтобы вернуться к ней, когда у автора речь пойдет именно о селах.

тересующие Н. Н. Воронина городища-убежища. Что городские стены служили в надлежащих случаях укрытием для окрестных жителей и в XV и в XVI вв., едва ли подлежит спору, но об этом речь у автора. Какое основание, однако, имеем мы видеть в древлянских «градех своих» всего лишь незаселенные убежища? В предании они ничем не отличаются от Искоростеня, выступающего, по признанию автора, не «пустой оградой», а сильно укрепленной совокупностью жилых «дворов» с «клетями», «вежами» и «одринами». Единственное различие текст летописной записи видит между Искоростенем и прочими «градами» в том, что он-то и стал предметом нападения Ольгой дружины, как город, жители которого повинны были в убийстве Игоря («яко тее бяху убили мужа ее»), а нападение превратилось в осаду потому, что искоростенцы «затворишася в граде и боряхуся крепко из града», зная («ведеху бо»), что дело для Ольги не только в дани, а в желании «мщати мужа своего».

Во-вторых, предприятие Ольги никак нельзя назвать просто «обложением данью». Это — война за территорию и уничтожение центра той правящей общественной группы, которая была организатором убийства киевского князя и пыталась затем сохранить свое политическое господство посредством «дипломатического» брака Ольги со своим князем Малом: запись под 946 г. нельзя брать в отрыве от записи 945 г.¹⁰ Это — продолжение тех враждебных действий Ольги, которыми она ответила на дипломатические демарши древлянских «нарочитых мужей», «старейшин» (в частности, резни, учиненной ею под Искоростенем в 945 г. у могилы мужа). Это — не просто военный налет киевской феодальной дружины на способную только к пассивной обороне в своих «городищах» крестьянскую страну, а полевая война двух военных организаций («снемшемася обема полкома» и «победиша древляны, древляне же побегоша», и только после этого «затворишася»), война, кончившаяся стратегически безнадежной осадой неприступной «столицы», для взятия которой у «феодальной» стороны не оказалось технического превосходства над стороной якобы нефеодальной (так надо понимать «первоначальное» установление феодального господства у нашего автора?). Когда пожар отдает осажденных в руки победителей, происходит тоже не совсем то, что рисует наш автор. «Старейшины» не «ликвидируются», а берутся в плен живыми («изьима»), прочие же «люди» — часть «избивается» (чего не заметил автор), часть обращается в рабство, часть оставляется платить

¹⁰ Лавр., стр. 54—58.

дань. Рассказ, интересующий автора, этим, однако, не кончается, и продолжение его заслуживает внимания для уточнения картины. За ликвидацией столицы война кончена: ни о каких «градах» речи больше нет при объезде Ольгой «деревстей земли». Речь идет уже об установлении: 1) «дани тяжкой», «уставов и уроков» и 2) «становищ» и «ловищ», административных пунктов и промысловых хозяйственных заимок, поставляющих «скору», — главный предмет заграничного сбыта киевских князей. У нас нет оснований искать «лучших мужей, иже держаху землю деревскую» вне тех «старейшин», которые легко были выловлены (вероятно, по наружному виду) в массе разбегавшихся от пламени «людей», как полагает и Н. Н. Воронин. Но у нас нет оснований видеть в них и родовых старейшин патриархальных общин. Перед нами здесь выделившиеся из территориальной общины феодалы, организаторы промыслового хозяйства на сбыт, «держашие» землю из своих «градов», господствующую над массой земледельческого населения. А то обстоятельство, что их не обращают в рабство и не облагают данью (все равно, оставили ли их в живых или подвергли сожжению, как утверждает Ипатьевский вариант, дающий вместо «изъима» «изжже»), свидетельствует о классовом родстве борющихся за власть двух феодальных групп — киевской и древлянской, как бы сравнительно развита ни была первая и в каком бы сравнительно эмбриональном состоянии ни находилась вторая. Во всяком случае — и это только и существенно в данной связи — текст летописи не дает нам никакого повода выселять эту общественную группу из «градов» в «открытую деревню», «заимку отдельной семьи».

Остается неизвестной судьба этой группы после разрушения Искоростеня: если обошлось без казни, была ли она частью распущена по своим «градам», частью же, может быть, взята в дружину киевского князя? Когда же деревская земля вскоре вновь появляется на страницах летописи в не столь легендарном виде (977 г.), резиденция Олега Святославича окazyвается в Овруче — не замке чужеродного князя, а городе с древлянским населением едва ли иного типа, чем сожженный Искоростень.¹¹

Так обстоит дело для «этого переходного периода» с открытыми поселениями и убежищами в письменных источниках.

¹¹ Лавр., стр. 73. — Поскольку автор здесь ограничился только толкованием текста предания, мы ограничиваемся тем же. Нечего и говорить, что вопрос об общественном строе древлян в целом неразрешим на базе гипотетических толкований этого сорта текстов. Речь идет у нас только о пустых городищах-убежищах.

Не лучше и с археологическими. Правда, автор думает, что «прекрасный материал» для характеристики городищ «этого переходного периода» дают белорусские городища, исследованные А. Н. Лявданским (стр. 19). Читатель, знакомый с работой этого самоотверженного и осторожного археолога, будет удивлен употреблением, какое делает из результатов весьма предварительного обследования А. Н. Лявданского Н. Н. Воронин. Из всего громадного белорусского материала «особо интересными» автор считает «городища IV группы, относимые к IX—XI вв.», а из этой IV группы останавливается только на одном — Ковшаровском. Таких городищ в Смоленской губернии всего «исследовано пока три».¹² Их «главное» отличие от прочих — большие размеры (в среднем приблизительно 100×150 м). Датировка — не ранее IX в., «когда среди кривичей утвердились норманны», и не позднее XI в., причем жизнь на них «продолжалась и гораздо позже». Беда только в том, что среди этого типа городищ мы не нашли Ковшаровского. Ибо Лявданским оно отнесено не к IV, а к I группе, которая объемлет, наоборот, «небольшие городища» (длина от 20 до 70 м «при меньшей ширине») «древнейшего происхождения». Лявданский склонен относить их к Литве, частью их «использовали для своих целей» впоследствии славяне.¹³ В частности, Ковшаровское городище, размером 26,5×60 м на высоком мысу, образуемом берегами р. Сож и впадающим в него ручьем Соленовкой, находится в 112 км от деревни Ковшаров (Покровка тож) и имеет овальную форму, кругом же него на площади 4—5 га находилось селище. Большинство предметов славянского слоя Ковшаров относится к XII—XIII столетиям. По мнению Лявданского, «Ковшаровское городище, находясь в центре селища, являлось как бы укрепленным местом (кремлем)».

О характере расположения жилищ на селище нет никаких данных, предметы же, дающие основание назвать эту площадь в 4—5 га селищем, находимы были при распашке на всем этом пространстве. С. В. Киселев счел селище «посадом».¹⁴ Н. Н. Воронин около «посада» ограничился постановкой знака вопроса, а об аналогии кремля у Лявданского не упомянул вовсе. Зато предположение Лявданского, что следы деревянных построек жилищ на городище наводят на представление

¹² А. Н. Лявданский. Некоторые данные о городищах Смоленской губернии. Научные известия Смоленского государственного университета, т. III, вып. 3, Смоленск, 1926, стр. 191.

¹³ Там же, стр. 185.

¹⁴ Труды Секции теории и методологии РАНИОН, вып. II, М., 1928, стр. 57 (цитируется по Н. Н. Воронину).

о «современной крестьянской хате» с топкой по-черному, Н. Н. Воронин выдвигает как не подлежащее спору. Между тем эта «топка по-черному» выросла всего только на найденных кусочках «глиняной штукатурки от внутренних стен», «закоптевшей от дыма», тогда как довольно натуральная мысль о пожаре на городище находит себе подтверждение хотя бы в обуглившихся остатках столбов предполагаемого укрепления городища.¹⁵ Заключение Н. Н. Воронина, что здесь «городище и являлось по отношению к селищу укрепленным пунктом», не вызывает спора, но чтобы оно являлось и «убежищем», как тут же добавляет наш автор, ниоткуда не видно.

Совершенно удивительна и хронология автора: Ковшары, жившие в славянскую эпоху в IX—XIII вв. — это «переходный период», а Ольшанское и Гнездовское городища, относимые автором к IX же в., «представляют собой уже чисто феодальные укрепленные пункты», причем все три объекта находились в одном районе (Смоленская губерния, стр. 19).

Однако попытку Н. Н. Воронина найти в письменных (и археологических) источниках данные для реконструкции сельского поселения «переходного периода» от патриархально-родового строя и укрепленного большесемейного городища к «открытой деревне, заимке отдельной семьи» — поселению в виде открытых деревень, связанных со старым городищем как с «временным убежищем» или «пустой оградой», — нельзя считать удавшейся. (Столь же неоправданной источниками остается хронология этой переходной «системы» — в пределах IX—XIII вв.).

«Смена» терминов и явлений в истории сельского поселения феодальной Руси

Мы опускаем здесь, за недостатком времени, разбор главы II «Город — городище», потому что она ничего не уясняет читателю в «последовательном появлении и смене различных форм сельского поселения» феодальной Руси. Да и сам автор на этом расстается с «открытой деревней, заимкой отдельной семьи» и в дальнейшем сосредоточивается на «средне-русской территории» (?) для изучения четырех «основных» сельских поселений, обозначаемых терминами: «погост», «свобода» (слобода), «село» и «деревня», держась той «последовательности», в какой появляются эти термины в письменных источниках (стр. 20). Справедливо восставая против «статистических дефиниций» подобных терминов, автор и пытается раскрыть судьбу этих терминов в их историческом развитии.

¹⁵ А. Н. Лявданский, ук. соч., стр. 236.

История названных терминов не есть еще история сельских поселений, и, выбирая именно эти четыре термина, Н. Н. Воронин обрек свое исследование на некоторое сужение поля наблюдений (оставлены в стороне, например, «дом-дым», «вервь», «волость», «волостка», «печище», «починок», «околица» и т. п.), лишив его как раз «общего очерка» и сделав из него «частное» исследование. Это — право автора. Его же право — вести свое изложение в той последовательности, которая представляется ему исторической. Но Н. Н. Воронин ошибается, утверждая, что термины «погост» и «свобода» появляются в письменных источниках раньше «села». «Погост» и «село» в летописи, как он сам же пишет, появляются в X в. (стр. 20, 42), а в Уставе князя Владимира фигурируют все три термина одновременно.¹⁶ В результате своего исследования автор пришел к «некоторой упрощенной абстракции развития сельского поселения», в которой эти термины отображают «разные стадии» исторического процесса: «доклассовую» — погост, «разложение общины» и «выделение ремесла из земледелия» — слобода, «феодальный способ производства» — село. Эту историческую последовательность явлений автор совершенно напрасно выдает за хронологическую последовательность появления терминов в письменных источниках. Пока читатель не дошел до стр. 58, где сформулированы эти «итоги», он остается в указанном хронологическом недоумении. А познакомившись с этими итогами, которые автор, странным образом, подводит не в конце своего исследования, а где-то в конце второй трети его, читатель убеждается, что на поставленный «основной вопрос» о последовательных «появлениях» и «смене» различных форм сельского поселения в итогах имеется только пол-ответа — именно о «появлении» этих форм в связи с различными «стадиями» исторического процесса, но не о «смене» их.

По собственному признанию Н. Н. Воронина (стр. 58), его «схема» «отнюдь не отражает всей сложности реальной смены явлений», а «в действительности» погост, слобода, село «существуют», не сменяя один другого. А тогда и «основной вопрос» автору надлежало бы формулировать и ставить открыто иначе, расчленив его на три, и очертить историческое развитие в отдельности погоста, слободы и села — именно на территории «Северо-Восточной Руси» (а не «средне-русской»

¹⁶ Устав святого великого князя Владимира о церковных судах и десятинах, изд. Археологической комиссии, Пгр., 1915, стр. 6 (Ба5): «суды их по всем городом и по волостем и погостом и по свободам»; стр. 32, 1-й столбец: «города, погосты, села и виноградя, земли и борти, озера, реки, волости и дани...».

территории, под которой, по-видимому, автор разумел и «северо-запад» — Новгородскую землю, и «северо-восток» — Ростово-Суздальскую землю; см. стр. 20, 22).

Погост — дань и погост — территория

Историю погоста автор начинает с исторического толкования термина, в частности у Неволлина и Папкова, и категорически отвергает «языковое объяснение погоста» как «торгового пункта, временной остановки князей и купцов» (стр. 21, 27) и, следовательно, всякое родство термина со словами «гость», «гостити», «гостинец» и т. п. Не предлагая никакого своего или вообще иного «языкового» же объяснения термина, автор принимает два исторических толкования термина «погост»: так «называлась», с одной стороны, «определенная система поселения», «сельская община», с другой стороны — «определенный вид дани», — и полагает, что «ответа на вопрос, что такое погост», надо искать «в архаических отношениях данничества».

Мы неправильно пойдем автора, если заключим отсюда, что там, где нет еще «данничества», там нет еще и погостов: «не обложение данью создавало погосты, а дань... легла на исторически сложившиеся территории общин, усвоив имя погоста-дани» (точно так же: «не приезд князя и купца создал погост как поселение, а и князь и купец собирали дань и торговали в старых центрах архаической сельской общины», стр. 27; разрядка наша, — Б. Р.). Но автор ломится здесь в открытые двери: современному читателю и в голову не придет помыслить, что «поселения» могут «создаваться» обложением данью или что купец станет приезжать в пустое место и добьется-таки, наконец, образования на этом пустыре нового сельского поселения, и, разумеется, князья ехали за сбором дани тоже не в пустырь, а в сельские общины, и купцы приезжали туда, где могли закупить и продать.

Зачем же понадобилось автору упорствовать в том, что дань при этом приняла точь-в-точь название пункта, где ее собирали (погоста) — пример уникальный, кажется, во всей истории не только одного древнерусского податного обложения. Не явится ли, чего доброго, у читателя мысль, что, может быть, и гости древнерусские получили свое прозвание от пунктов, где они производили свой обмен?

Автор ведь все же пытается опереться в этом своем историческом толковании термина на старейший летописный текст о погостах, «установленных» Ольгой по Мсте и вместе с ловищами, знаменьями и местами «оставшихся» (по крайней мере до времен писавшего летописца) «по всей земле» (Новго-

родской), как и ее «сани» в Плескове.¹⁷ Н. Н. Воронин принимает (стр. 20) «брошенное мельком» толкование этого текста Неволиним: «устави по Мсте погосты и дани, и по Луге оброки и дани», где «оброки» — предположительно спрашивал Неволин — «не равнозначны ли «погостам»? Но текст далее гласит (и от этого непристало отворачиваться нашему бедному источникам автору): «и ловища ея суть по всеи земли и знаменья и места и погосты».

Из песни слова не выкинешь: от Ольги, если достоверно первое толкование, столь же достоверно остались какие-то территориальные пункты — погосты. Что они были удобно расположены или установлены для сбора дани не в отдалении от заселенных мест, а скорее всего в исторически сложившихся центрах населенных районов, это довольно правдоподобно. Но Ольга могла назначить свои погосты и неудачно, и они могли оставить впоследствии только мертвый след — будь то погост-пункт или погост-район. Во всяком случае, простым отрицанием Н. Н. Воронин не убедит читателя, что здесь не имелся в виду временный приезд для сбора дани и гостыбы, как временным должен был быть и приезд в насиженные пункты местных новгородских гостей.

При изучении истории погоста как сельского поселения не так уже важен вопрос о существовании погоста-дани. Но нельзя не заметить, что то, что было по этому предмету «брошено мельком» Неволиним в вопросительной форме, у нашего автора обратилось в очевидную истину. Неволин, должно быть, не упускал из виду, что литературное повествование — ни в древности, ни даже ныне не застрахованное часто от плеоназмов (*pars pro toto*, *устероу протсрор*), учетверения терминов, повторений, недомолвок и т. п., — нельзя трактовать как нечто логически подобное математической формуле равенства: погосты и дани (на Мсте) = оброкам и даням (на Луге), следовательно, вычитая из обоих членов равенства «дани», получим равенство: погосты = оброкам. Потому, возможно, Неволин и выразился здесь вопросительно, а затем и бросил самую мысль. Наш автор из всего текста о пребывании Ольги на севере принял твердо только этот математический остаток.

В поисках текстов, где погост означал бы побор, автор нашел таких только два. Один из них, летописный, при этом содержит не то, чего искал автор. В 1116 г. Мстислав новгородский ходил на Чудь и «взя город их именем Медвежа глава и погост бещисла взяша и възвратишася в свояси с многом полоном».¹⁸ Погосты здесь — поселения чудские, как и город.

¹⁷ Лавр., стр. 58, 59.

¹⁸ ПСРЛ, т. II, изд. 2. СПб., 1908, столб. 283.

Все эти поселения побывали в руках военных налетчиков. Результат похода — «полон мног». Едва ли представимы одновременно сбор дани и плененье данников, да и текст не говорит, кроме полона, ни о чем другом, доставленном домой (например, «именье много», «скот», «товар» и т. п.).

Второй текст — грамота 1504 г. об освобождении великокняжеских рыболовов в г. Руссе от уплаты погоста и черного бора.¹⁹ Здесь «погост» — несомненно какой-то сбор. Но дань ли это эпохи «архаических даннических отношений»? Ее преемник, через татарскую дань, скорее черный бор. Подтверждаемая в грамоте старая льгота дословно звучит так: «погоста им не платити, ни в черный бор им не тянути». Если придавать значение здесь приурочению глаголов, то «тянути» может относиться только к прямому и коллективному сбору, каковым в общинах и была всегда дань, «платити» же можно индивидуальные и косвенные сборы-пошлины. Какой сбор разумелся в грамоте под словом «погост», сказать не беремся. Указание слишком одинокое и позднейшее, чтобы строить на нем выводы. Да и сам автор мог сказать только, что погостом назывался «определенный вид дани» — «дань с сельской периферии» (а здесь это несомненно городской сбор).

Как бы то ни было, вне спора остается одно: во всяком случае в Новгородской земле погост неизменно связан с представлением о податной организации смердов, и в договорных грамотах «смерд тянет в свой погост», так же как купец мыслится в составе своего «ста» (только погост в этой клаузуле позднее заменяется термином «потуг»).²⁰

Погост и городище

Погост в Новгородской области и в дальнейшем живет как податной и самоуправляющийся округ, исторический преемник дофеодальной территориальной общины, иногда сохраняя как пережиток, по выражению автора, «свои родовые черты» (впрочем, беглая ссылка на документ 1375 г., в котором староста Выключенского погоста выступал как представитель «племени», слишком глуха, чтобы быть убедительной; стр. 25).

Н. Н. Воронин, видимо, склоняется к гипотезе Неволлина о том, что «места, теперь называемые городищами, прежде на-

¹⁹ СГД, ч. I, №№ 142, 143, стр. 388: «погоста им не платити, ни в черной бор им не тянути ... а с рушаны им в их потуг не тянути».

²⁰ Там же, стр. 4, 7, 12, 20. — В договорах с тверскими князьями 1270—1327 гг. употребляется термин «погост»; в договорах XV в. с московскими князьями Василием Васильевичем и Иваном Васильевичем и с польским королем Казимиром «погост» заменен «потугом» (АИ, т. I, № 258; ААЭ, т. I, №№ 57 и 87; СГД, ч. I, № 20).

зывались именно погостами», и видит в оправдании ее «большую задачу» — «увязать» археологические данные с данными письменных источников. Это и было бы, действительно, существенным шагом вперед и новостью в работе Н. Н. Воронина, если бы ему удалось установить реальную связь северных погостов-пунктов и погостов-округов с дохристианскими следами сельских поселений. Такой попытки автор, однако, не делает вовсе — для северного района. А два-три беглых замечания о погостах и городищах Владимирско-Суздальского района не подтверждают гипотезы Неволлина, да и погосты в этом районе в письменных источниках выступают как пункты, а не как округа (стр. 25).

Но и эти пункты, за одним исключением, в немногих замеченных автором случаях расположены «неподалеку», «около» или «вблизи» старых «городищ» или даже просто сел, расположившихся, по-видимому, на городищах, — и искомого совпадения не получается.²¹ Впрочем, наблюдения автора и наши здесь настолько малочисленны, что строить на них что-нибудь впредь до специального обследования всего материала (писцовых книг XVI в.) не приходится.

Что касается летописного материала по этому району, то он-то уж ничего не дает для установления искомой связи. И автор опять совершенно напрасно пытается вычитывать в нем то, чего в нем нет. Он утверждает, что и для этого района «источники намечают довольно целостную систему погостских поселений», имея в виду сообщение «Ростовской» летописи под 1107 г. о том, что болгары «обступиша град (Суздаль, — Б. Р.) и много зла створиша, ваююша села и погосты и убивающе многих христиан», а находящиеся в городе «затворишася во граде» «и, очевидно, отсиделись от нападавших».

Это трафаретное изображение военного набега на волжско-окское междуречье (типичного вплоть до татарских набегов второй половины XVI в.) автор совершенно произвольно комментирует так: 1) «Суздаль — город, уходящий своим началом далеко за пределы феодального строя и, возможно, выросший на основе древнейшего родового городища и рядом с ним», — но повторять, как припев, гипотезу Неволлина не значит ее подкреплять, а повторять ее можно, не двигая вперед вопроса, при летописном упоминании любого города, время основания которого летописи неизвестно; 2) «значение его (Су-

²¹ Зато имеем случаи, когда с термином «городище» связаны не «погосты», а иные поселения: «село Городище» на р. Осенке и «село Городище» на р. Коломенке (ПКМГ, ч. 1, отд. 1, стр. 384, 385), «пустошь, что был починок Городище» (там же, стр. 533), «деревня Городище» (там же, стр. 480), «деревня Городок» (там же, стр. 574).

здаля, — Б. Р.) как убежища для населения очевидно выступает в летописном рассказе — автор здесь нектати воскрешает свою концепцию городища-убежища для сельского населения «заимок отдельных семей», ибо в тексте речь идет явственно о горожанах, затворившихся в своем городе, а не о сбежавшихся из окрестностей деревенщиках; 3) «так же ясна близость к городу погостов, сельских поселений смердов» (всюду разрядка наша, — Б. Р.) — но на «близость» погостов текст даже и намека не дает, как и на близость сел, забытых здесь автором, и о смердах ничего не говорит, а рисует обычную картину глухого обложения города купно с укрывшейся в нем организованной военной силой и одновременно разорения, где ни попало, беззащитных сел и погостов; «близость» погостов к Суздалью должна здесь играть роль аргумента и в пользу городищенски-убежищного характера пра-Суздаля, и мы это понимаем, но о близости-то текст ничего не говорит.

Таким образом, ни эти суздальские погосты XII в., ни упоминаемые тут же автором «многочисленные курганные группы» Суздальского района (автор позволяет себе здесь выразиться уже «Суздальской общины») не могут служить ступеньками к конечному выводу (стр. 25), что «погосты выступают (в Северо-Восточной Руси — хочет сказать автор? — Б. Р.) как поселения еще дофеодалного этапа развития». Автор тут слишком поспешен и настойчиво не хочет четко разграничивать районы, перемешивая свой материал и заставляя читателя самого следить за его топографией. Если для Новгородского Севера погостская концепция автора не вызывает возражений хотя бы с точки зрения терминологической, то северо-восток остается у читателя пока вне этой схемы.

Погосты рязанские

Из амальгамы авторского материала следует выделить для специального изучения единственное, но и «наиболее исчерпывающее», по мнению Н. Н. Воронина, известие о погостах рязанских. Мы разумеем известную грамоту рязанского великого князя Олега Ивановича Ольгову монастырю второй половины XIV в., на которой автор строит себе конкретное представление о погостских общинах вообще, даже об их «объеме» (т. е. размере?) и «элементах сельской жизни». Уже по одному этому грамота эта заслуживала бы большего, чем те 16 строк, которые посвящает ей автор (стр. 23—24). Но, как хорошо известно, именно рязанские документы отличаются резко выраженным своеобразием формы и содержания (например, ка-

балы, иммунитетные грамоты),²² и интересующая нас грамота князя Олега поэтому требовала бы пристального разбора прежде, чем пользоваться ею для каких-либо выводов в общерусском масштабе.

Между тем Н. Н. Воронин свою и без того скудную цитацию этой грамоты сумел сократить так, что это бросается в глаза даже и вовсе невинному читателю. Вот эта цитата, приводимая для характеристики «объема» погостов: «тогда дали (князья, — Б. Р.) святой Богородице дому 9 земель бортных, а 5 погостов, Песочна, а в ней 300 семей, Веприя 200 семей, Заячков 100 и 60 семей». Выброшенными здесь оказались непосредственно следующие за Песочной второй и третий погосты: «Холохолна, а в ней 150 семей, Заячины, а в ней 200 семей». Грамота и без того дефектна и опубликована была в изданиях, которыми пользовались мы с автором, с пропусками:²³ зачем автору понадобилось скомкать цитату так, что читатель вправе процитированные три названия относить безразлично или к погостам, или к землям бортным, или, может быть, даже, ввиду количественного несовпадения, счесть их за города, слободы и т. п. Да не сочтет это автор с нашей стороны придиркой педанта: оба названия могли бы пригодиться и ему самому, если бы он не так молниеносно скользнул по этому документу вообще.

Обратимся теперь к толкованию этого «наиболее исчерпывающего» документа, какое дает ему Н. Н. Воронин.

Свою цитату автор приводит в подтверждение того, что князь Олег «говорит только о двух элементах сельской жизни — погосте и семье: ... перед нами совершенно отчетливая картина больших территориальных общин — погостов, дальнейшим слагаемым которых являются „семьи“, количеством последних и заинтересованы особенно феодалы». Это значит,

²² Ср.: С. Б. Веселовский. К вопросу о происхождении вотчинного режима. М., 1926, стр. 52—58; А. С. Лаппо-Данилевский. Служилые кабалы позднейшего типа. Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909, стр. 719; М. А. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя древней Руси, изд. 3-е. СПб., 1910, стр. 390.

²³ АИ, т. I, № 2; Сборник Муханова, изд. 2. СПб., 1866, № 116. — Пропуски эти гипотетически заполняет новейшее издание этой грамоты в Сборнике Московского архива Министерства юстиции (т. I, ч. 1, М., 1913, стр. 5—7). Нам пришлось ознакомиться с этим изданием уже после того, как эта работа нами была написана. Вытекающие отсюда оговорки мы делаем в последующих примечаниях. Издание это было указано нам проф. С. Н. Черновым, за что мы ему очень признательны. Оно не было принято во внимание ни Н. Н. Ворониным, ни С. Б. Веселовским в его работе «К вопросу о происхождении вотчинного режима» (стр. 123, прим. 72).

что автор нашел, наконец, документальное свидетельство о «заимке отдельной семьи» как клеточке территориальной общины. Автор именно это имеет в виду, когда продолжает: «археологические данные дают к этому отрывочному свидетельству письменного источника определенное соответствие, например костромские могильники XII в., представляющие собой, по существу, крестьянские кладбища, „могут принадлежать лишь крайне незначительной группе населения, скорее всего одной семье, но отнюдь не большой семье“» (стр. 24; автор опирается здесь на заключение Третьякова в книге «Костромские курганы»). Правда, там Рязань XIII в., здесь Кострома XII в.: но пусть так, отдельному семейному кладбищу должно бы «соответствовать» отдельное малосемейное поселение, деревня.

Однако дальше Н. Н. Воронин сам осложнил свое положение привлечением себе в союзники покойного Н. П. Павлова-Сильванского, «наиболее отчетливо комментировавшего грамоту Олега Рязанского»: он «считал, что семья грамоты соответствует двору писцовых книг, и, считая среднюю норму 3 двора на деревню, полагал, например, состав погоста Песочна в 300 дворов или 100 деревень». А тогда, к чему же сводится здесь «соответствие» нашего автора: к одному кладбищу на двор и трем (и т. п.) кладбищам на деревню или к одному кладбищу на деревню «заимку» скольких семей? И главное, что автор считает, наконец, кроме погоста, вторым и последним «элементом сельской жизни» — двор, семью или деревню?

Обращаясь к самому документу,²⁴ мы убеждаемся с первых же строк, что комментарий автора и недостаточен, и тенденциозен. Территориальный состав грамоты сложен. В ней два разновременных пожалования князя Олега и подтверждение нескольких пожалований монастырю св. Богородицы на Ольгове, состоявшихся более ста лет назад. «Сгдав» с епископом Василием и со своими боярами (перечислены поименно 9, в том числе «дядько», «окольничий» и «чашник»), князь Олег дал монастырю св. Богородицы «Арестовское село с [винами] и с поличным и с резанкою и с шестьюдесят и со всеми пошлинами и с бортники и с борти и з землями и с поземом и с озера [и с бобры] и с перевесищи». Как видим, Олег вовсе не «говорит только о двух элементах сельской жизни — погосте и семье», а ясно говорит здесь о селе с бортниками, к нему приписанными или его заселяющими. Что он дает, о том он и говорит, — но мы не станем рекомендовать читателю село с бортниками как единственные «элементы

²⁴ Текст грамоты цитируется по Сборнику Муханова, № 116, (Прим. ред.).

сельской жизни». Не станем мы, вопреки Н. Н. Воронину, рекомендовать в этом качестве и погосты с семьями, о которых речь идет в грамоте дальше. К тому же «говорит» о них дальше не сам князь Олег. За клаузулой о пожаловании села Арестовского в грамоте следует: «а возрев есмь в данный грамоты с отцем своим, с владыкою Васильем, и с бояры: коли ставили по первых прадеди наши святую Богородицю князь великий Ингвар, князь Олег, князь Юрьи и с ними бояр 300, мужей 600; тогды дали святой Богородици дому 9 земель бортных, а 5 погостов (перечислены, как цитировано выше, — Б. Р.). А си вси погосты с землями с бортными и с поземом и с озеры и с бобры и с перевесици, и с резанками и с шестьюдесят и с винами и с поличным и со всеми пошлинами». Это, надо думать, цитата-пересказ из древней грамоты первой трети XIII в. трех прадедов Олега. Как и правнук, прадеды, что давали, о том единственно и говорили, не задумываясь, единственные ли это «элементы сельской жизни».

Далее грамота Олега возвращает нас из далекого прошлого к текущему моменту: «а кто даных людей прадеди нашими святой Богородици дому (т. е. кто из людей, данных дому святой Богородицы нашими прадедами, — Б. Р.) где имуть седети, или бортници или слободичь (т. е. будь то бортниками или слобожанами) в моей (Олега) отчине, ать знают дом святой Богородици, а волостели мои ать не вступаются в них ни о каком же деле». Олег расширяет здесь старый иммунитет, разумея здесь, конечно, не мертвецов или зажившихся столетних старцев, а потомков прадедовских бортников из названных 5 погостов — на тот случай, если кто из них переселится и окажется проживающим в его, Олега, отчине на земле монастыря в качестве бортника или в монастырской же слободе в качестве «слободича». Это специфическое пожалование, как будто имеющее в виду эвакуацию определенной категории людей из определенной территории в бланковый адрес, вклинилось здесь в пересказ событий XIII в.

Далее пересказ возобновляется: «а Головчин дал Федор Борисович, а Мордовский дал Климент по Данилов двор, а Еремей великий и с Глебом села свои подавали госпожи Богородици, а мужи Олговскую околицю, купивши у муромских князей, давше 300 гривен, и дали святой Богородици». Эти четыре дарения, вероятно, были облечены в свое время тоже в форму данных грамот, ставших теперь предметом рассмотрения в заседании Боярской думы князя Олега наряду с грамотой трех князей-прадедов.

И, наконец, заключительная часть: «а яз князь великий Олег Иванович, што есмь дал Арестовское село святой Бого-

родици дому, и што прадеди наши подавали которые места и люди, и што бояре подавали дому святой Богородици, того хочю боронити, а не обидети ничим дому святой Богородици; а волостели и данници и ямщики ать не занимают богородицских людей ни про што же; а кто избидит дом святой Богородици, или князь, или владыка или волостель, или кто иной, тот даст ответ пред богом святой госпожи Богородици (разрядка наша, — Б. Р.)».

Как видим, обобщая и подытоживая, князь Олег назвал: «село», «места» и «людей» — три объекта своей иммунитетной грамоты или, как предпочитает автор, три «элемента сельской жизни». Это не значит — во всяком случае было бы поспешно так заключать, — что к половине XIV в. термин «погост» старой грамоты XIII в. исчез из живой географической номенклатуры на Рязанщине. Но это значит все же, что князь Олег иначе, чем наш автор, понимал акт, совершенный его прадедами. Мы понимаем его тоже иначе. Оставим пока в стороне обстоятельства пожалования князя Олега и присмотримся к некоторым подробностям рассказа о возникновении земельных владений Ольгова монастыря в начале XIII в.

Князь Олег, с его одним селом и десятком бояр, — совсем пигмей на фоне феерии XIII в., поражающей своими масштабами. В ней участвуют 3 князя, 300 бояр, по сотне на каждого, на зависть всем будущим государям московским и всея Руси, и 600 мужей, по 200 на каждого князя, если считать их военной дружиной, «мужами храбростующими» (в противоположность «боярам думающим»), а не городской торговой, денежной аристократией. Место («околицу») для построения монастыря эти мужи откупили у муромских князей за круглую денежную сумму в 300 гривен наличными: если сложились все 600, то по полугривне на голову. Бояре на поверку оказались не так тароваты: из них 296 человек не дали на монастырь ничего. В монастырской казне в XIV в. налично оказалось всего 3 боярских данных грамоты. С боярской толпы в 300 душ монастырю сошло 3 дара натурой, о ценности которых судить нет данных. Из всех этих цифр первая и последняя тройки совсем реальны и сомнений не вызывают.²⁵ Но остальные цифры слишком круглы и нарочиты, чтобы можно было принять их всерьез. Похоже на то, что древняя канцелярия впала в искушение достойно увековечить день основания

²⁵ Ср., впрочем, «большое сомнение», вызывавшееся у А. Е. Преснякова (Образование Великорусского государства. Пгр., 1918, стр. 226, прим. 1) перечнем прадедов в грамоте князя Олега, в котором старший (дядя) Юрий оказался после своих племянников Ингваря и Олега.

монастыря на удивление потомству, простовато играя на числах, кратных ста и трем. Но, с другой стороны, нельзя упустить из виду, что грамота, в которой была вся эта помпа, представлена была на рассмотрение князя Олега и его думы в XIV в. никем иным, как игуменом заинтересованного монастыря. Нет ли тут руки третьего поколения монастырских грамотеев?

На это последнее предположение наводит то обстоятельство, что приведенным выше текст грамоты князя Олега Ольгову монастырю не ограничивается, а имеет далее в строку приписку «другими чернилами и другой рукой»: ²⁶ «а коли есмь (т. е. Олег, — Б. Р.) выехал из отчины ис своее (не «из моее»), из Переяславля, тогда есмь обет учинил, к святеи госпожи Богородици придал есмь Рязанское место и побережьеное, аже ми дал есть во Льгов в отчине своей в Переяславли». Обращает на себя внимание в этой неловкой фразе переход с одного подлежащего на другое. Начата она как бы от имени — в стиле предшествующего вполне законченного текста грамоты — князя Олега. В квалификации отчины имеем уже не «моее», а переходное к третьему лицу — «своее». А кончается она уже от лица жалуемого (игумена Арсения?): «аже ми (т. е. игумену) дал есть (князь, — Б. Р.) во Льгов (т. е. мне в монастырь) в отчине своей (т. е. княжеской) в Переяславли».

Таким образом, перед нами повествовательная запись, неловко приращенная к подлинному юридическому тексту, грамматически себя и выдающая. А содержание этой повествовательной записи выдает и исключительность того, чтобы это пожалование было облечено в подлинно юридическую письменную форму: выезжая из отчины своей, князь Олег успел только «обет учинить» о пожаловании названных двух объектов, в обладание которыми, по-видимому, и вступил («дал есть») игумен, не получив соответствующей грамоты и сделав о том от себя приведенную угловатую (и внешне, графически неважно оформленную) приписку на грамоте, обнимавшей все прочие владения монастыря и покрывшей все прежде бывшие пожалования.²⁷

²⁶ Сборник Муханова, № 116, примечание. — Д. Цветаев (Сборник Московского архива Министерства юстиции, т. I, ч. I, М., 1913, стр. 7; 10) дает вместо «место» — «мыто» и вместо «аже ми дал есть» — «аже ми дасть [господь бог быти] в отчине своей в Переяславли». Судя по фотографии, эти строки грамоты настолько попорчены, что твердо установить чтение подлинника нет возможности. А копия документа, снятая в XVII в., дает Мухановский вариант.

²⁷ Текст Муханова основан на чтении этого места в имеющейся копии грамоты (XVII в.). Ср.: Сборник Московского архива Министерства юстиции, т. I, ч. I, стр. 8, примечание.

Мы говорим «успел», имея в виду катастрофические условия, в каких не раз приходилось Олегу покидать свое великое княжение на Переяславле-Рязанском. Таково его бегство после поражения московской ратью в декабре 1371 г. близ Переяславля на Скорнищеве, когда он «едва утече в мале дружине», а на Рязанском великом княжении сел ненадолго пронский князь при поддержке Дмитрия Донского. Таково опустошительный набег мамаевых татар 1373 г., когда они пришли «на Рязань, на великого князя Олега Ивановича Рязанского и грады его пожгоша и людей многое множество избиша и плениша и со многим полоном отъехалша во свояси». Таково его бегство в 1379 г., после волжской победы Дмитрия Донского, перед новым «изгоном» татар, когда ему пришлось «перебежать на сю сторону Оки» (на северный берег), а татары сожгли Переяславль и «Рязанскую землю пусту сотвориша». Таково же его бегство в Литву после Куликовской битвы под угрозой карательной войны, предпринятой было Дмитрием Донским ввиду двуличной позиции Олега во время войны Дмитрия с Мамаем. Таково же его двукратное бегство, наконец, в 1382 г. сначала от татар, потом от московской рати.²⁸ К какому бы из этих моментов ни стносить «обет» князя Олега закрепить за монастырем новые два пожалования, ясно, что в такой обстановке он легко мог остаться неоформленным, а оказался знесенным в прежнюю грамоту уже самими властями монастыря.

Эта бурная внешнеполитическая обстановка, в какой жило Рязанское княжество во времена Олега (1350—1402), отразилась на интересующей нас грамоте, кажется, не только в этой приписке, а и в той, отмеченной выше ее части, которая заключала в себе расширение иммунитета, связанного с первоначальным пожалованием прадедов Олега. Топография этого первоначального пожалования, равно как и его хронология, представляются в грамоте Олега далеко не ясными. Отнесение этого пожалования XIII в. к именам Ингваря Ингваревича, Олега Ингваревича и Юрия Игоревича (как делал гипотетически А. Е. Пресняков, откуда и было его недоумение, каким образом старший, дядя Юрий, попал на последнее место) едва ли правильно уже по одному тому, что Юрий Игоревич погиб в 1237 г., в Батыево нашествие в качестве великого князя Рязанского, а Ингварь Ингваревич был великим князем и «обновлял землю Рязанскую» уже после того, как Батый ушел. Значит, великий князь Ингварь нашей грамоты, вероятно, отец Ингваря — Ингварь Игоревич, бывший великим князем Рязанским с 1219 г. и умерший, как принято думать, до

²⁸ Ср.: А. Е. Пресняков, ук. соч., стр. 237—243.

1237 г.: этим и будет широко определяться датировка пожалования.²⁹

Более гипотетична всякая попытка установить топографию пожалования. Текст грамоты князя Олега в части вставки об иммунитете переселяющихся бортников и «слободичей» наводит на предположение, что места первоначального пожалования XIII в. к моменту Олеговой грамоты находились уже вне обладания монастыря и самая первоначальная грамота прадедов была теперь документальной реликвией, не имевшей реального, хозяйственного значения, так как и власть самого князя Олега не распространялась на эти места.

Единственное употребление, какое могли сделать из этой реликвии монастырские власти, заключалось в том, чтобы закрепить за собой право уже не на территории, а на живую рабочую силу, если бы монастырю удалось нелегкое предприятие по вызову ее в бесспорные пределы отчинных владений князя Олега в любое место, где бы только монастырь ни пожелал организовать прием этих в международноправовом смысле в настоящее время «беглецов».

Это предположение в свою очередь подсказывает искать интересующие нас территории за пределами Рязанского княжества времен Олега или в лучшем случае в какой-нибудь спорной зоне.

Указания на эту последнюю мы имеем в том проекте доказания между Дмитрием Донским и князем Олегом Ивановичем 1381 г., который был принят князьями в 1385 г.³⁰ Проект этот сохранился в редакции, предложенной рязанской стороной, и, вероятно, исходил в известной мере больше из исторических притязаний, чем из условий, *uti possidetis*. Территориальные предложения проекта формулированы были так: «а мне ваши (Дмитрия и Владимира, — Б. Р.) вотчины блюсти, а не обидети, Москвы и Коломны и всех московских волостей и коломнских, что ся потягло к Москве и к Коломне по реку

²⁹ Постановка Олега, сына Ингваря, на второе место до Юрия, брата Ингваря, сама по себе недоумения не вызывает. Вопрос, почему из сыновей Ингваря Игоревича в грамоте оказался один Олег, неразрешим при наших вообще крайне скудных, случайных и путаных данных о рязанских князьях. Даже если предположить, что этот Олег — брат Юрия и Ингваря, то постановка его на втором месте вызывает новые трудности, так как в летописи (Лавр., стр. 487) он стоит после Юрия. Ср. замечания А. Е. Преснякова (ук. соч., стр. 225, прим. 1), клонящиеся к признанию брата Олега мифическим лицом в результате путаницы имен «Игорь» и «Ингварь». Датировка 1219 г., какую дает Д. Цветаев (ук. соч., стр. 18), не имеет за собой твердых оснований.

³⁰ СГД, ч. I, № 32 и замечания А. Е. Преснякова (ук. соч., стр. 228, 241—243)

Оку ... А межи нас роздел земли по реку по Оку, от Коломны вверх по Оце, на московской стороне Почен, Новый городок, Лужа, Верея, Боровск, и иная места рязаньская, которая ни будут на той стороне, то к Москве ... А что на рязаньской стороне за Окою, что доселе потягло к Москве, Почен, Лопастна, уезд Мстиславль, Жадене городище, Жадемль, Дубок, Бродничь с месты, как ся отступили князи Торусские Федору Святославичу, та места к Рязани. А что место князя великого Дмитрия Ивановича на Рязанской стороне, Тула, как было при царице Тайдуле и коли ее баскаци ведали, в то ся князю великому Ольгу не вступати и князю великому Дмитрию. А что места Талица, Выползов, Такасов, та места князю великому Дмитрию, князь великий Олег ступился тех мест князю великому Дмитрию Ивановичю». В подчеркнутых нами «местах рязанских» еще тех, наверное, времен, когда и Коломна находилась во владении рязанской династии,³¹ и следует искать те древние пожалования, о населении которых проявлял заботу теперь монастырь.

Из 5 погостских наименований четыре могут быть приурочены к известным нам географическим пунктам. Это: 1) р. Холхол, левый приток Протвы, неподалеку от Нового городка при впадении Протвы в Оку; 2) Вепрейка, на скрещении меридиана Вереи и широты Медыни, близ берега р. Лужи; 3) Заячков, к юго-востоку от Боровска, в районе течения р. Нары и 4) Заечины, у истоков р. Прони, в Рязанском княжестве.³² Что касается Песочны, то М. К. Любавский^{32а} помещает ее, называя селом, километрах в 4 к юго-востоку от Переяслава-Рязанского, ссылаясь на нашу грамоту. Против этого говорило бы то обстоятельство, что монастырь был построен не в Песочне, а где-то недалеко от Переяслава, на месте, купленном мужами у муромских князей, и от этой Ольговой околицы и взял свое название Ольгов монастырь. Не менее заслуживающим внимания мы считали бы предположение, что Песочну нашей грамоты надо видеть в другой Песочне, которую Любавский, вслед за документами, называет «волостью»

³¹ А. Е. Пресняков, ук. соч., стр. 228.

³² Ср.: М. К. Любавский. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929, по указателю и карте. — Мы берем эти пункты, руководствуясь княжескими духовными, указанными в следующем примечании, и исходя из вышеприведенного толкования грамоты Олега. Д. Цветаев в поисках этих названий шел от отсутствия их вблизи от монастыря: Вепрейку и Заячков он помещает там же, где они указаны у М. К. Любавского; Холохолю же — либо на правом берегу Оки в Одоевском уезде, либо в Мосальском уезде (в виде Холохоленки); ср.: Д. Цветаев, ук. соч., стр. 21, 22.

^{32а} М. К. Любавский, ук. соч., стр. 130.

и помещает в районе р. Песоченки, притока р. Отры, в свою очередь впадающей в Москву, километрах в 25 вверх по Москве от Коломны (в XVI в. Песоченский стан Коломенского уезда).³³

За исключением Заечины, расположенной в Рязанском княжестве достаточно на отлете от его центра, и Вепрейки, остальные 3 названия задолго до Олегова княжения уже упоминаются в документах и служат предметом распоряжения московских князей. Так, Песочна вместе с Коломной и коломенскими волостями передается Иваном Калитой Семену Ивановичу. Семен Иванович получил Заячков от тетки своей княгини Анны, жены, по предположению Любавского, князя Афанасия Даниловича. Песочна и Заячков от Семена Ивановича переходят к вдове его княгине Марье, которая по распоряжению Ивана Ивановича владела ими до живота своего, а по ее смерти Песочна должна была перейти Дмитрию Донскому, но выделена до живота княгине Александре. Такова же судьба и Заячкова: он должен был от княгини Марьи перейти к княгине Александре. Тот же Заячков вместе с Холхолом переданы Дмитрием Донским его жене. При вторичном перечислении того, что дано «княгине моей», в духовной Дмитрия Холхол и Заячков идут неразрывной парой: «а что есмь подавал своей княгине волости и села из уделов детей своих и свой промысел и слободы и села, и Холхол и Заячков, а с тех волостей...». По женской же линии идет Песочна и в духовной Василия Дмитриевича — «моей княгине». Вепрейка, в качестве одной из лужских волостей, передается князем Владимиром Андреевичем его жене.³⁴

Итак, если наше предположение верно, то при вторичном основании Ольгова монастыря, которое относят к 1355 г.,³⁵ от пожалования, данного при первом основании его («по первых»), реально в пределах юрисдикции рязанского князя, кроме Заечины, не оставалось ничего, но надежда на восстановление всей отчины у Олега, разумеется, еще не отпала. Спорные «рязанские» места Олегу пришлось и формально закрепить за своими московскими противниками, под которых он не устал десятилетиями вести международный подпоп, лишь к середине

³³ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 472 и сл. — Д. Цветаев отождествляет погост Песочну с селом Песочней в 2 верстах от монастыря, селцом Малой Песочной в 4 и селом Большой Песочной в 5 верстах от монастыря, исходя из сохранившихся в XX в. селений (Д. Цветаев, ук. соч., стр. 19).

³⁴ СГГД, т. I, №№ 22, 24, 26, 34, 39, 40.

³⁵ В. В. Зверинский. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи, ч. II. СПб., 1892, № 1023.

80-х годов XIV в. При таких условиях естественно, что монастырь был заинтересован пока что хотя бы в закреплении за собой той живой силы, которая оставалась в теоретических его заокских владениях, с правом использования ее, в случае перевода в собственно Рязанское княжество, на тех же основаниях иммунитета, которым жаловал его Олег по отношению к прочим рязанским владениям монастыря. Грамота Олега давала монастырю как бы лимит в $300 + 160 + 200 + 150 + 200 = 1010$ семей на случай, если полное подтверждение старого пожалования, тоже включенное в грамоту, оказалось бы неэффективным. А тогда и самые слагаемые этого общего лимита, совершенно нереальные по своей округленности, не дороже могут стоить для исследователя, чем помянутые выше круглые и дутые цифры бояр, мужей и гривен. Во всяком случае, строить на них конкретное представление о размерах погостов — территориальных общин начала XIII в. едва ли не слишком рискованно.

Иное дело общины, приводимые в пример Н. П. Павловым-Сильванским для конца XVI в. — Вохна в 535 дворов, Волочек-Словенский в 335 дворов, Кушалинская в 681 двор, все с крупными торговыми и промышленными центрами.³⁶ И совсем другое дело — подобные же гигантские общины лесных бортиков за четыре столетия до того, в начале XIII в. Это цифры неконкретные и едва ли реальные для времен, которые и для эпохи Олега были временами стародавними, прапрадедовскими. Но нельзя не усомниться также и в том, чтобы эта вставная прадедовская грамота XIII в. могла сохраниться в архиве (казне) рязанских князей до второй половины XIV в. при тех политических, военных и династических передерягах, сопровождавшихся выжиганиями до тла, разорениями и бегством князей, какими полна история Рязани со времен Батыя. Скорее грамота эта могла сохраниться в монастыре и во всяком случае уцелеть в руках игумена или кого-либо из братии монастыря и отсюда явиться на рассмотрение Олеговой думы (возможно, в таком ветхом виде, что и подтвердить ее было нельзя).

Подвергая сомнению цифры грамоты XIII в., мы не имеем основания а limine отвергать ее содержание. Присматриваясь к нему, нельзя, как мы отметили уже, принять версии Н. Н. Воронина, что Олег говорит «только» о погостах и семьях: это грамота прадедов говорила о погостах и семьях. Олег говорит здесь о 9 «землях бортиных», на которые ему с боярами были предъявлены грамоты монастырем. Может быть,

³⁶ Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910, стр. 24—33.

цифра 9 здесь подытоживала 9 объектов дарения: 5 погостов, Головчин, Еремеевы села, Мордовской по Данилов двор (не Моржовской ли?)³⁷ и Ольговскую околицу. Если и нет, то во всяком случае хозяйственная ценность пожалований определялась тем, что основной продукт этих земель, мед (и воск), был одним из главных предметов торгового оборота. Хозяйство князя XIII в. — скажем по-позднейшему, его чашничий путь — выделяло монастырю состоявшие на княжеском учете хозяйственные единицы, «земли бортные», под пятью названиями. При этом, когда речь шла о погосте Песочна, а «в ней» столько-то семей, это «а в ней» может быть относительно к женскому роду названия, но когда речь шла о погосте Заечины, то тут «в ней» могло относиться только к «земле». Земля такая-то, а в ней (а не в нем, в погосте) столько-то семей. Если точно следовать тексту грамоты, то погосты жаловались только князьями: на «землях» княжеских погостов не было. Это едва ли значит, что бояре давали, а мужи перекупали у муромских князей обязательно пустыри или необитаемые бортные участки, и население их жило, надо полагать, не стольпинскими отрубями. Это значит, что на княжеских бортных землях были погосты-пункты, носившие определенные названия. Из этих названий два связаны с речками, и о происхождении их судить нет возможности. Зато три других названия — охотничьи. Надо думать, что они связаны именно с княжеской охотой, и названия к ним пришли сверху, из княжеской номенклатуры. Объяснить две различные формы словообразования в названиях «Заечины» и «Заячков» естественнее всего единством источника их происхождения (не местного) и необходимостью как-то номенклатурно различить два пункта охоты на один и тот же объект. Эти места княжеской охоты и одновременно, естественно, центры сбора ценнейшего вида дани (меда и воска), свозимого в пункты княжого приезда на полюдье и на охоту, и носили общее название погостов — в рязанском языке.

Здесь мы подошли к исходной точке словесной контрверзы о термине «погост» и хотим сказать, что текст грамоты Олега ни на йоту не сдвигает спора в пользу нашего автора. Не дает он и никакого конкретного представления о поселениях тех «семей», которые так заинтересовали здесь Н. Н. Воронина, в частности и о том, сколько территориальных общин бортников тянуло своей бортной данью в те пять погостов, которые

³⁷ Ср.: М. К. Любавский, ук. соч., стр. 130. — Д. Цветаев ищет Мордовской в селе Мордасове в 9 верстах от монастыря (Д. Цветаев, ук. соч., стр. 26).

в момент пожалования были для них, говоря по-новгородски, «потугами».

Н. Н. Воронин, как мы видели, полагает, что искать ответа на вопрос, что такое погост, надо «в архаических отношениях данничества». С рязанскими погостами имеем именно такой случай, архаический случай, в котором для XIV в., с исчезновением «полюдья», исчезает начисто и сам термин «погост», при сохранении старых собственных названий для тех поселений, которые раньше числились на княжом учете как «бортные земли» с «погостами», а в XIV в. источниками упорно не называются, ни одно из них, «погостами». Между тем в XIV в., судя по духовным грамотам князей московских, целостность этих поселений, сохранившая след в собственных именах, не разрушена еще феодальным их раздроблением. Значит, перед нами налицо именно отмирание архаического княжеско-даннического, полудничьего термина, а не отмирание самых территориальных общин. Отмирание термина еще до разложения явления.

Вот теперь только, после довольно детального обследования рязанской грамоты, мы можем вновь вернуть ее нашему автору уже не в качестве обломка рязанской исключительности и старины, а в качестве источника, бросающего свет на погостский вопрос в Северо-Восточной Руси вообще, в ранней феодальной Москве в частности. Свет не совсем тот, какой позаимствовал из нее автор.³⁸

³⁸ Чтобы покончить с грамотой князя Олега Ивановича и, в частности, с прадедовской грамотой XIII в., необходимо отметить, что последняя имела некоторую дальнейшую судьбу, а первая, может быть, не столь уникальна. Имеется в виду документ № 12 в кн.: Акты Юшкова, стр. 12—14, озаглавленный «родовым письмом» фамилии рязанских помещиков Шиловских. Место этого документа (стр. 13, 10 и следующие строки сверху), оставшееся непонятым А. И. Юшкову и набранное у него курсивом, имеет прямое отношение к интересующей нас грамоте. Доведя свое изложение истории рода Шиловских и пребывания их на службе рязанского великого князя Ивана Федоровича до сына Григория Даниловича Шиловского, Василия Григорьевича, документ продолжает: «так рек: великий князь Иван Федорович, что еси из старины дали прадеды наши великие князи две околицы (9 земель бортных), пять погостов, писано (Песочна) в ней триста семи (семий), слохосна (Холохолна) полтора сна (полтораства) еми (семий), заечные (Заечинны) сто и шедесят, веприя и зауков (Заячков) двести семинаси (семий. А си вси погосты с землями) з бортным поземом (с бортными и с поземом) и с озеры (и с бобры) и с перевесиши с резанскими (и с резанками) шедесят (и с шестьюдесят) с навинами (и с винами) и с стольнами (с поличным) со всеми пашенными (и со всеми пошлинами), и то знают еси (вси) — Б. Р.) они ж». И далее следуют одна за другой две грамоты, действительно, на две околицы (текст порченый, и первая «околица» дана в виде «от Колиду») с полным перечислением угодий, с финансовыми льготами и

Погост и сельская община на Киевщине

Если верно наше предположение о территориальном приурочении рязанских погостов, то можно сказать, что монастырь в начале XIII в. получил от князей довольно разбросанные и отдаленные от хозяйственного центра промысловые участки с бортничьим населением, уже примученным княжеской данью и, вероятно, положенным уже в некоторый ее оклад: отвергая достоверность закругленных цифр рабочих пар («семей»), мы не имеем основания отвергать все же некоторого счетного приема при обложении данью, отразившегося в нашей рязанской грамоте.³⁹ Расстояние от властвующего центра — момент, которому Н. Н. Воронин придает существенное значение в реконструкции исторического понятия погоста. Так по крайней мере можно понять те строки, которые автор посвятил «киевскому государству» того «раннего периода», когда оно состояло из «Украины» и «соподчиненных» ей Новгородской и Ростово-Суздальской земель (речь идет тут, по-видимому, о XI в.; стр. 22).

В этих «неравных» частях, по его мнению, «различно складывались отношения господства и подчинения»: на Украине «рано (когда?) сложились законченные феодальные отношения, перед которыми архаические отношения данничества

невъездом княжих агентов. Как нетрудно заметить из сопоставления бессмысленных, непонятных для переписчика «родового письма», подчеркнутых нами рядов слов — с заключенными в скобки словами, взятыми нами из вставленной в грамоту Олега грамоты прадедов, мы имеем здесь искаженное воспроизведение именно этой вставки грамоты Олега. В документе времени великого князя Ивана Федоровича вставка, имевшая в грамоте Олега живой и практический смысл, омертвела в формулу, в исторический казус-образец, по которому совершается пожалование великого князя Ивана сто лет спустя после Олега пожалования Ольгову монастырю. В том объеме, в каком введена эта вставка (без упоминания о боярских пожалованиях XIII в.), теряли всякий смысл те «9 земель бортных», которые предваряли ее в грамоте Олега и суммировали 9 пожалований; они и опущены в документе князя Ивана и заменены «двумя околицами», действительно жалуемыми в этом случае Иваном Федоровичем. Несомненно, что в «родовом письме», да еще в копии, имеем весьма искаженный вообще текст жалованного документа князя Ивана, но формулярное значение в нем цитаты древнейшей грамоты, кажется, все же не подлежит сомнению. Обращая внимание на этот случай с родословной Шиловских, Д. Цветаев полагал, что значение «примера и опоры» прадедовской грамоты было одинаково в рязанских грамотах в XIV и в XV вв. (Д. Цветаев, ук. соч., стр. 36).

³⁹ Счета на «семьи» нам придется еще коснуться в дальнейшем, в связи с трактовкой, какую получила в работе автора «деревня». Мы не исключаем и того предположения, что здесь налицо, может быть, и случай поселения партий княжого полона — челяди. В пользу такого предположения говорил бы счет на «семьи».

отступили на второе место, становясь пережитком», а «в отдаленных территориях севера» «только в форме дани ... могла фактически осуществляться эксплуатация непосредственного производителя далеким киевским центром (разрядка наша, — Б. Р.)». Автор, правда, не останавливается на выяснении понятия дани и на том, какие именно разновидности эксплуатации он считает ведущим на Украине X в. и как великим считает он то «будущее», которое «предстояло» еще дани, наоборот, в «отдаленных территориях». Но погост вырастает перед читателем (на стр. 23) именно в этом плане — удаленности от эксплуатирующего центра.

Формальное подтверждение этой концепции читатель может усмотреть в том, что для Украины ни летопись не знает термина погост, ни Русская Правда. Но ведь и Новгородская судная грамота о погосте молчит не менее упорно; с другой же стороны термин «погост» известен Уставу святого Владимира. Однако Н. Н. Воронин берет на себя ответственность утверждать, что эта (погостская в его понимании) «дофеодалная система отношений» тоже «не получила отражения» в Русской Правде. И это потому, по его мнению, что Русская Правда — «документ, полно отражающий отношения, складывавшиеся на киевском юге и юго-западе», а самого термина «погост» нет в ней потому, что «для севера (этот документ) отразил только городские отношения». Последнее едва ли кто поймет, кроме самого автора. И оно тем более нуждается в обстоятельном разъяснении, что именно в сфере внегородских отношений старушка дикая вира благополучно доживает до XVI столетия в уставных грамотах, в частности довольно-таки «северных». Но никак не можем согласиться и с первым, т. е. что на юге (в Правде) мы не имеем не только термина «погост», но и территориальной сельской общины с малой семьей в основе, на севере носившей название погоста.

Н. Н. Воронин полагает, что «условия южного чернозема и обилие земельных угодий допускали сохранение сельской общины более крупного масштаба, чем на лесном северо-востоке, и иные формы организации этих общин» (стр. 26). Читатель, имея в виду приведенную выше сравнительную стадиальную характеристику украинного общественного строя и строя Северной и Северо-Восточной Руси, ожидал, что она относится и к формам организации сельского населения Украины, стадиально обгонявшей свою периферию. Но теперь у автора выходит, что Украина не изжила еще («сохранила») «большой семейной общины», и территориальная малосемейная община была для нее еще впереди (или Украина вообще избежала этой высшей формы организации?).

Мы видели только что, что для начала XIII в. автор принимает для «лесного» северо-востока территориальную общину размером в среднем в 2—3 сотни дворов. Сколько же дворов в среднем автор считает нормальным для «более крупного масштаба» украинной общины — верви XI—XII вв.? Надо думать, не меньше. Но он отрицает «тождество» между южной вервью и погостом севера: «верви юга отвечало печище севера», причем «погост (севера) мог включать в свой состав, как территориальная община, наряду с малой семьей, пережиточно существовавшие печища» — иными словами, что же было «крупнее»: погост из нескольких печуш или вервь, «отвечавшая» печищу? Н. Н. Воронин обходит этот вопрос, механически выдвигая цитату из «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса о том, что «большие семейные общины» упоминаются в Правде Ярослава под названием верви. Никто не будет оспаривать того, что термин «вервь» исторически связан с большой семейной общиной. Вопрос, однако, в том, покрывал ли в XI—XII вв. этот термин только пережиточно «сохраняющуюся» кровную организацию или относился и к «сельской (территориальной, — Б. Р.) общине», которая, по мнению Энгельса, «столь же глубоко коренилась в русских народных обычаях», как и «большая семейная община».

Если же Н. Н. Воронин и впрямь полагает, что «большая семейная община» на Украине в указанное время находилась в своем зените, не подавая и признаков своего разложения и перехода к территориальной общине, то с такой постановкой вопроса автору следовало бы увязать все свои высказывания по этому предмету. В частности, прежде всего следовало бы точно определить границы не лесной «Украины» — «киевского юга и юго-запада» и объяснить, куда надо нести малосемейные территориальные общины древлян X в., и привести в ясность свои представления об «объеме» лесных и не лесных общин. Иначе читатель — увлекаемый здесь в тенета «теории географического фактора» и в то же время географической расплывчатости и исходя из канонизированных автором для погоста цифр в 200—300 дворов — склонен будет представлять себе южное степное, не рассеявшееся по лесным заимкам, сплошное сельское поселение в масштабах порядка нескольких сотен дворов, в стиле больших украинских сел начала XX столетия.

Став на путь географических размышлений, читатель затем будет недоумевать, почему автор, по-видимому, полагает, что старорусский общинник, двинувшийся на борьбу с лесом под влиянием изобретения проушного топора, предпочитал вступать с лесом в единоборство, а не жался к семейному центру, разду-

вая «семью» до нескольких сотен дворов. Наконец, читатель вправе был ждать, чтобы автор не просто скользнул парой слов по Русской Правде и верви, а и разъяснил, какое место в его концепции занимают те статьи о наследовании, в частности смерда, которые исходят из наличия малой семьи как объекта надвинувшейся на нее феодальной эксплуатации, и что делать читателю с понятием «мир», которое, по-видимому, историк общины забыл, но которое вошло в терминологию ранней редакции южной Правды.⁴⁰

Таковы недоумения наши по поводу территориальной общины XI—XII вв. во всем Приднепровье — степном, смешанном или лесном (которое тоже было) одинаково. А называлась она погостом или же не называлась — это вопрос третьестепенный.

Погост и сельская община на северо-востоке

Переходим к району, который Н. Н. Воронин собственно и считает «преимущественно» объектом своего самостоятельного исследования (стр. 28 и сл.). Здесь «в средней России» погосты были «центральными поселениями общины», а сама «община и ее земля... назывались волостью». Поэтому и «проблема», возникающая здесь перед автором, представляется ему «проблемой погоста-волости». Для «освещения» ее автор привлек многочисленные данные писцовых книг Московского государства второй половины XVI в. преимущественно. На основании этого материала он пытается дать картину погоста, «небольшого поселка с церковью и кладбищем, поповскими и церковными дворами», одинокого бывшего центра окружающей территории, к этому времени расхищенной вековым процессом феодализации, — однако же центра, «сохранившего еще пережиточно некоторые старые черты своего мирского значения» (стр. 29).

Кажется, автором учтен, однако, не весь материал Калачевских писцовых книг. Ему представляется, что они (не считая Орловского и других южных уездов) «сообщают о 74 погостах», причем наибольшее количество их падает на Тульский (28), Тверской (26) и Московский (18) уезды, следовательно на прочие уезды оставалось бы только 2 погоста. Но на проверку мы взяли Коломенский уезд и насчитали там 38 погостов, которые выделены в писцовой книге в отдельную группу в конце описания каждого стана, как «царя и великого князя погосты» (за исключением 5 случаев без обозначения и одного случая

⁴⁰ См.: Русская Правда в четырех редакциях, изд. В. Сергеевича. СПб., 1904, первая редакция, ст. 17.

«на церковной земле».⁴¹ В свете этой формулы надо брать и формулу (встретившуюся автору один раз в Звенигородской писцовой книге): «на царя и великого князя земли на волостной погост», — затерявшуюся здесь среди описания вотчин и купель боярских и трактуемую автором «как остаток прежнего представления о волостной земле, о погосте, как некоей общинной территории» (стр. 28). Это — не «прежнее», а современное писцу и писцовой книге XVI в. представление о волости как земле царя и великого князя, в противоположность частновладельческой вотчине и купле. В стане Скульневском этого уезда не отмечено ни одного погоста как отдельного поселенческого пункта, а при описании «пустых порожжих поместий» в поместье, что было за Микулою за Бровцыным, сказано: «селище, что была деревня Вошкина. . . да тое ж пустоши отхожая пашенная у речки у Северки пустошь Княжшина: перелогом середние земли 30 четви, из тое пустоши дано Покрову Пречистой Богородицы, что на погосте, пашни перелогом 10 четви, третья поле, потому что та пустошная земля смежна покровской земле». Этот безымянный царя и великого князя погост с церковью расположен был, оказывается, в соседнем Похрянском стану на Москва-реке, и в нем отмечено — «пашни церковные середние земли наездом пахано 25 четви в поле»: ему и была «дана» поместная земля царя и великого князя по соседству в придачу — конечно, писцами.⁴²

Несомненно, что писцами же были «даны земли в тех погостех к храмом» и в случае, который автор тоже ошибочно отмечает как «остаток прежних представлений о волостной земле, о погосте как некоей общинной территории».⁴³ В самом деле, автор из всего контекста отдела о погостах в писцовой книге Каширского уезда по Раставскому стану взял только подчеркнутые 7 слов: «даны земли . . . к храмом», точно они были даны общиной или из общинной земли. Ознакомление со всем этим отделом⁴⁴ полностью исключает всякую мысль об «общинной территории»: «погосты на царя и великого князя земле, а по государеве грамоте, за приписью дьяка Ивана Булгакова 74 году, написано: даны земли в тех погостех к храмом, попом и причетником церковным в руги место (вместо денежного жалованья от царя, — Б. Р.), а ныне положены в сошное письмо для одного городского дела» (т. е. если бы

⁴¹ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 393, 406, 431, 444, 482, 492, 501, 515, 534, 551, 559, 569, 594.

⁴² Там же, стр. 449, 492.

⁴³ Там же, отд. II, стр. 1431.

⁴⁴ Там же, стр. 1431—1434.

была руга, а земли были бы даны общиной или помещиками, то и тянули бы в сошное письмо вместе со станом).

Н. Н. Воронин ограничился своей вырезкой из заголовка и не поинтересовался самим описанием погостов. А в нем есть некоторые любопытные черты, относящиеся к характеристике социальной природы погостов.

Всего в отделе описано 11 объектов. Из них четыре как погосты не носят даже особого наименования: № 4 — «погост на р. на Беспуте», № 7 — просто «церковь Никола чудотворец на речке на Сытынке», № 8 — «погост на речке на Улыхани», № 11 — просто «церковь Никола чудотворец на речке на Перце». Нецерковные названия носят три погоста: № 1 — Детчин, № 2 — Люблин, № 5 — Баткапольский. Остальные четыре носят названия церковные, от своих церквей: № 3 — Фролов, № 6 — Троецкой, № 9 — Пречистые Гостуновские, № 10 — Покрова пречистой Богородицы. Все церкви стоят на царя и великого князя земле. Церкви поставлены попами, по принадлежности, в №№ 1, 3, 4, 5, 8 и 9, приходами в №№ 2, 7 и 10, помещиком в № 11, неизвестно кем в № 6. На двух из них — торжки, тамгу собирают на государя каширские таможенники (№№ 2 и 9).

Похоже на то, что перед нами три поколения погостов. Для одних еще не отстоялось и название. Другие уже закрепили церковные свои наименования, и если и были у них когда-то иные, те забыты. Третьи, наконец, сохранили прозвища, ничего общего не имеющие с именами их церквей. Если из последней группы Баткапольский, на самый худой конец, сохранил какой-то след обывательского отношения к батьке-попу, то прочие два, Детчин и Люблин, оба (и только они) стоящие не на речушках, а на р. Оке, скорее можно возвести к княжеско-дружинной номенклатуре (см., например, стр. 1371 — село Гридчинское, стр. 1409 — сельцо Гридчино: тогда Детчин, может быть, от «детский»). Местоположение этих двух погостов тоже говорило бы о их большей древности.

Во всяком случае и в названиях, как и в земельных обеспечениях этих погостов, нет никаких следов «погоста как общинной территории». И описанную попытку автора с первого же шага сойти с его северо-восточной концепции погоста (пункта)-волости (общинной территории) надо признать неудавшейся.

А дальше автор ищет и указывает «примеры» сохранения погостом в XVI в. «пережиточно некоторых старых черт его мирского значения» и строит на этих примерах заключение, что «мирские общинные черты погоста сохранялись полнее в тех районах, где поместное и вотчинное землевладение было слабо развито, тогда как в центре (? какой это еще центр,

когда и так мы в «средней России»? — Б. Р.), где давно не было земли без господина, эти черты выветривались очень быстро» (стр. 30).

Присматриваясь к этим примерам, мы не видим в них того, что видит Н. Н. Воронин, а именно «старых» черт (былого) «мирского» значения средне-русских погостов. Одни из них являют следы старины, но не связанной с погостом; другие, действительно, связывают погост с «мирскими» действиями, но это действия новой церковной общины, прихода, и к «старине» дофеодальной и дохристианской отношения не имеют; третьи, наконец, показывают погост как местный центр торгового оборота, но неизвестно, «старые» ли это торжки на них, а если старые, то не ведет ли это нас к представлению в средней России о погосте как «торговом месте», ранее отвергнутому автором?

Так, примеры двух погостов Пошехонского уезда, полагает автор, показывают «значительное количество деревень, имеющих еще неподеленные общинные угодья — вопчий лес, розъезд тому лесу не бывал». Это слишком суммарная и поспешно выхваченная цитата: текст писцовой книги дает и больше и не совсем то, что извлечено из него автором.⁴⁵ В Пошехонской писцовой книге речь идет не о черной погостской общине или волости, а описываются специально владения Троице-Сергиева монастыря (1593—1594 гг.). В Вольской волости Пошехонского уезда, несомненно, были не только его владения. У монастыря же здесь было два погоста, к каждому из которых было приписано незначительное количество деревень: к погосту Подъяблонному — 7 деревень с 47 крестьянскими дворами, к погосту Раменскому тоже 7 деревень с 21 двором. Как видим, общины небольшие сравнительно с классическими примерами Павлова-Сильванского. Изучим каждую из них в отдельности, в частности их угодья.

В погосте Подъяблонном 6 деревень, каждая косит свое сено «меж поль и по заполью», и в одной деревне своего «сена нет». Там, где оно и было, его не хватало, и крестьяне снимали луга у монастыря: 4 деревни снимали вскладчину «отхожей луг» «Шашпан», с которого ставилось 40 копен, из оброка по 25 алтын (вероятно, с двора), 1 деревня, не имевшая своего сена вовсе, снимала другой луг «под тою же деревней», с которого ставилось 20 копен, из оброка по 10 алтын, и 2 деревни довольствовались своим сеном. Таким образом, только часть членов «погостской» общины складывалась для общей эксплуатации арендуемого господского луга: в общинном поль-

⁴⁵ Там же, стр. 36—38.

зовании лугов не было. С лесом было иначе, и здесь мы не видим пока никакой землевладельческой попытки его феодальной эксплуатации. «Под» одной из деревень был «лес большой бревенной, ко всем троецким деревням вопче, а шелся тот лес сомежно государевых езовых деревень Вольского езу, а сколко того лесу десятин и верст, того не ведомо, владеют тем лесом с езовыми деревнями вопче, а розъезд деи тому лесу не бывал, и меж старых нет, и ныне с обе стороны крестьяня кому меж ими тот лес розъехати старожильцов не сказали».

Думаем, что про это безбрежное лесное пространство неправильно было бы сказать, что оно находилось в общем «владении» троецких и государевых деревень, уже по одному тому, что оно не было окружено со всех сторон этими двумя категориями владений, и лесом этим мог пользоваться всякий, кому было удобно, с любой другой его стороны.

В данном случае писцы затронули вопрос о «розъезде» его не между крестьянами 7 троецких деревень, а между троецкой вотчиной и государевой землей по их смежности и для этого именно искали старожильцев и не нашли. Речи о внутривотчинном межкрестьянском «розъезде» его и не подымалось. Если брать этот лес точкой, от которой, вслед за Н. Н. Ворониным, вести реконструкцию старой общины, то придется счесть ее разодранной по меньшей мере между двумя феодалами — монастырем и дворцом, и тогда на долю монастыря в конце XVI в. приходилась бы только часть былой более крупной общины. А если лесом этим по всему его периметру пользовались и крестьяне еще третьих и т. д. владельцев, то что останется тогда для Подъяблонной общины нашего автора (конца XVI в.) от общины былых дофеодальных времен? «Вопчей» лес здесь того же происхождения, что и неподделенные леса в пользовании помещиков Орловского уезда в писцовой книге тех же лет, где обычное явление — такая квалификация лесного угодья данного поместья: «лес дуброва», «лес Юрьев», которым пользовались 9 помещиков, «лес Убойчей» — до двух десятков помещиков, «лес Скородной» и т. д., без определения даже теоретической владельческой квоты в этих лесах.⁴⁶

Относительно нашего пошехонского вопчего леса теоретически можно допустить, что когда-то он находился действительно в общинном владении некоей крупной былой общины (но о существовании таковой нам ничего неизвестно). Относительно же нашей «погостской» Подъяблонной общины можно

⁴⁶ Там же, стр. 877, 886, 891, 895.

было бы сказать, что лес у нее в общинном владении, как раз в том случае, если бы состоялся «розъезд» его между троицкими и государевыми крестьянами: тогда только выделенный кусок этого леса попал бы действительно в ее общинное владение. Автор уловил здесь черту «старины», но старина эта старше нашей погостской общины.

А «старина» этой Подъяблонной общины отнюдь не показана автором, как и древность самого погоста Подъяблонного. То обстоятельство, что церковь на нем с образами, свечами, кадилами и клепалом железным была «мирское строенье», а ризы и книги — «монастырское строенье», свидетельствует лишь о приходском значении погоста и вовсе не о его древности.

Есть, однако, указания на то, что о древности нашего погоста и говорить не приходится. Присматриваясь к составу этой «погостской» общины, замечаем, что две из 7 деревень ее выделяются количеством стоящих в них дворов: это деревня Ивановская в 14 крестьянских дворов и деревня Лаврентьевская в 13 дворов. Не считая трех деревень (Гарнышева, Лиственки, и Подъяблонной), в которых было по 1—3 двора и которые у нас есть основания подозревать в молодости, остальные две, Тупиково и Роконово, имели одна 5, другая 6 дворов. Совокупность этих деревень поступила во владение Троице-Сергиева монастыря не в виде «погостской общины», а из рук частного вотчинника, и в качестве феодальной вотчины имела едва ли не столетнюю историю. «Вольское», в составе Белоозера купленное Иваном Калитой, было выделено по завещанию Дмитрием Донским жене Евдокии до живота ее из Белозерской вотчины князя Андрея Дмитриевича Можайского, куда и вернулось по ее смерти. В середине XV в. Белоозеро с волостями и промыслами находилось во владении князя Ивана Андреевича Можайского, от которого оно перешло к великому князю Василию Темному, а тот завещал «волости заволжские и по Шоксне-реке» жене своей княгине Марье в дополнение к ее купле — устью Шексны.⁴⁷ Именно поэтому княгиня Марья в 1468 г. могла в этом пришехонском районе пожаловать, «по государя своего грамоте великого князя Василья Васильевича», вдову Стефаниду Шеину с сыном ее Дмитрием иммунитетом на «их села» «в Волском» — «Ивановское да Лаврентьевское да Погорелое с деревнями».⁴⁸ Эту свою вотчину Стефанида Шеина дала в Троице-Сергиев монастырь «по своем сыне по Семене по Баташе», но ее

⁴⁷ СГГД, ч. I, №№ 34, 86.

⁴⁸ Н. П. Лихачев. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895, стр. 137, 138: правая грамота Дмитрию Васильевичу Шеину на треть поле села Лаврентьевского, 18 апреля 1505 г.

затем выкупил за 15 руб. да «пополнка» корову Дмитрий Васильевич Шеин в составе: сел Лаврентьевского и Иванского да Тупиковского дворища да Роконова селища и луга Шешпалды. Как легко заметить по названиям, это и есть наша Подъяблонная «погостская» община, только луг Шешпалда обратился позднее в Шашпан. Еще в 1505 г. она оставалась во владении Шеина, и с ним тягались «великого князя хрестьяне Волские волости» из-за того, что приказчик его «припустил к селу Лаврентьевскому в третье поле деревню Олешинскую», и так как на вопрос писцов, «кому то ведомо, что то земля великого князя», крестьяне старожильца поставить не могли, то Шеин и выиграл тяжбу.⁴⁹

Когда и как перешла эта старая феодальная вотчина вновь к Троице-Сергиеву монастырю, не знаем. К 90-м годам XVI в. мы застаем ее в состоянии, сравнительно с 1505 г., некоторого роста и видоизменения. Села перестали быть селами и разжалованы были в деревни, в которых и признаков не осталось феодальных дворов. Дворище (Тупиково) и селище (Роконово) покрылись вновь дворами и приняли вид порядочных деревень. Совсем вновь явились две крестьянских деревеньки (Гарышева, и Лиственка), погост и одноименная с ним Подъяблонная деревня для попа и при нем одного крестьянина. Таково происхождение этой «погостской» общины. И не так уже важно, стал ли там погост после 1505 г. еще при Шеине или уже в троицкую эру. Что вероятнее последнее, тому пример — вторая троицкая «погостская» община, к которой сейчас надлежит нам обратиться.

В Раменском погосте той же Вольской волости картина с луговыми угодьями та же, что в Подъяблонной. С лесом совершенно ясно: там «ко всем троецким деревням» было «лесу чепыжнику мелкого» от деревни Поповской к речке Волготне, на которой стоял погост, вдоль 3 версты и поперек полверсты, и у всех деревень лес был отмечен «вопче с деревней Поповской». Последняя стояла на самом берегу Шексны и являлась подлинным центром для соседних своих деревенок: в ней был двор монастырский и 9 крестьянских дворов, в ней монастырь закупал рыбу, туда же свозилась и рыба с Белоозера, счет на выти велся на «деревню Поповскую с деревнями». Погост же стоял в стороне от Шексны и имел исключительно церковное лицо. Деревеньки были мелкие: 1 починок в 2 двора, 2 деревни по 1 двору, 1 в два двора и только 2 деревни имели когда-то по 6 дворов, из них одна была теперь совсем пуста, другая сохранила 4 двора.

⁴⁹ Там же, стр. 139, тот же документ.

Какова древность этой погостской общины? Она была пожалована монастырю князем Иваном Можайским в 1443 г. Но тогда о погосте тут не было слышно, а пожалованы были «монастырек Юрьи святой в Раменце да Поповское на реце на Шексне со всем с тем, что к тому монастырьку с Поповским издавна потягло».⁵⁰

Как видим, «погостский» центр на Раменье — это всего лишь бывший монастырек, феодальный пережиток, а не дофеодальный, общинный. Таким образом, оба рассмотренных погоста оказываются феодальными новообразованиями и в исконные центры этих давно уже несвободных общин они не годятся.

А между тем и здесь автор имеет пример «мирского строения» церквей, в котором он вообще хочет видеть «старую черту» «мирского» значения погоста. Мы думаем поэтому, что автор проделал напрасный труд, массами регистрируя примеры такого мирского строения церквей на погостах Северо-Восточной Руси и правильно не различая здесь «мирского» от «приходного» строения в подбираемых им примерах. Это — черта приходской жизни, не заключающая в себе ничего архаического. Того же порядка и кельи «мирских старцев и стариц» на погостах, да и «питаются» они обычно не от «мира», а от «церкви божией».⁵¹ Именно потому, что все это не архаика, а самая настоящая живая феодальная современность, именно поэтому «те же черты приобретают и вновь возникающие погосты», где церкви ставят даже и не «миром», а просто «приходом».⁵²

Что новый приходский центр неравнозначен центру старой территориальной общины, видно хотя бы на классических примерах Кушалинской и Вохонской общин, где в XVI в. погосты не играют и не могут играть роль общинного центра уже по одному тому, что на каждую из них, общин-волостей, приходится не один погост, а несколько. Наблюдения самого же автора (стр. 30) показывают те редкие случаи, когда погост становится центром окружающих деревень: это когда на его месте развивается частновладельческое село.⁵³ Поскольку же погост не перерождается в такое село, он выступает на карте

⁵⁰ ААЭ, т. I, № 38.

⁵¹ О том, что это значило с подлинно «мирской», общинной точки зрения, см. в «Судебнике Федора Иоанновича» (М., 1900, ст. 188): «а которые люди живут в волосте, а питаютца о себе, не от церкви божии, — и тех судити судьям земским и розправа меж ими чинити, как меж крестьяны».

⁵² ПКМГ, ч. I, отд. II, стр. 417.

⁵³ Кроме приведенных автором, ср. древнейшее «село на Сулишине погосте» в духовной великого князя Семена Ивановича (СГГД, ч. I, № 24).

как церковная точка или даже одно кладбище — наблюдение, попадавшееся автору, по его же признанию, чаще всего.

Итак, надо открыто признать, что проработанные автором материалы писцовых книг не дают следов того, что погост на северо-востоке был когда-то центральным поселением сельской общины. Эпоха писцовых книг, как правильно отмечает автор, это эпоха доминирующего выступления перед нами «села» как административно-хозяйственного центра феодального владения и прикрытых им обломков старой территориальной общины.

Но мы думаем, что автор слишком спешит с заключением, будто эта эпоха губительно отозвалась на судьбах и церковного погоста (стр. 31). Его замечание, что «жизнь покинула старый общинный центр и отлила к новой форме поселения — селу», при ближайшем рассмотрении оказывается голословным. Оно построено всего на одном случае, да и то специфическом. В писцовой книге Каширского уезда 1578 г. в Раставском стане на Оке описано село Терново на левом берегу Оки, против которого и расположен пустой погост, принадлежащий этому селу. Это большое село, в нем 34 крестьянских двора и 681 четь пашни в одном поле (т. е. всего 1020 десятин). Но оно запустело больше чем на половину: немного больше одной трети сохи было в живущем, и полсохи «в пуге». Оно находилось в раздельном поместьем владении у 4 владельцев (две «трети» и две «полутрети»). Из них один, 13-летний князь Петр Мещерский, жил здесь на отцове поместье еще не поверстанный. Остальные трое, по всей вероятности, несли военную службу в эти тяжкие военные годы. Погост был «вопче у всех помещиков», и помещичьи руки, видимо, не были тароваты относительно этой опустелой церкви: «в ней образы и свечи все приходные». Помещикам в такие времена было не до церкви: не было ее и в селе. А значит, «к селу» ничего и не «отливало», вопреки Н. Н. Воронину.⁵⁴ Он думает, далее, в иных случаях даже, что «погосты становятся урочищами, как раньше архаические родовые городки превратились в городища» (стр. 31). Но и тут все приводимые им примеры — не к делу.

Таковы все 7 его примеров по Московскому уезду: 6 запустелых погостов здесь расположены в сплошном море «пустошей, что была деревня», это случай сплошного запустения целого района, а 7-й погост — 1) вовсе не погост, а «деревня Старый Погост», и 2) -деревня эта благополучно «живущая».⁵⁵ Таков же пример погоста в Черепицком стану Тульского уезда: в этом стану «писаны» были только «порозжие земли, что были

⁵⁴ ПКМГ, ч. I, отд. II, стр. 1307—1309.

⁵⁵ Там же, отд. I, стр. 103, 117, 120, 152, 155, 172, 173.

за детьми боярскими в поместьи», и записано их там 18 пустошей, среди них и 1 погост.⁵⁶

Некоторая поспешность, нередко проявляемая Н. Н. Ворониным в обращении с письменными источниками, сказалась и на последнем его примере — Пятницком погосте в Дедиловском уезде. Если отыскать этот погост по указателю к «Писцовым книгам» и взглянуть на соответствующую страницу писцовых книг — спора нет, погост запустел, «пустошь, что был погост».

Иное дело, — если присмотреться ко всему Дедиловскому уезду в целом. Не считая пустого, в уезде благополучно существуют 5 погостов (да, кроме того, имеются два села с церквями), вкрапленных на страницах писцовой книги среди помещичьих сел и деревень довольно равномерно. Запустелый погост помечен в конце книги перед итогами. Итоги здесь имеют прямое отношение к вопросу. Всего в уезде 60 селений живущих и 10 пустых. В них на 407 населенных крестьянских, людских и бобыльских дворов приходилось 183 места дворовых пустых и сохранившихся пустых 28 дворов, итого 211 дворов запустело. Так обстояло дело с 83 поместьями жилыми. Но, кроме того, отдельно описано «порозжих поместных земель» 23 пустоши. Не приводя в подробностях еще более выразительные цифры пашни паханной в живущем (2 сохи) и в пусте (6 сох), мы вправе все же заключить, что запустение здесь одного погоста из 6 более чем скромно отражает факт убыли богомольцев-прихожан в пропорции 1:3. Можно ли при таких условиях говорить, что наш запустелый погост «покинула жизнь», потому что «отлила к селу»?⁵⁷

Н. Н. Воронин, кажется, и сам был не вполне удовлетворен такими результатами своего экскурса в Калачевские писцовые книги и попытался пересмотреть «еще раз» свою «общую линию эволюции погоста» XVI в. по данным о районе бывшей Владимирской губернии, собранным местными краеведными организациями (стр. 31 и сл.). Но здесь автор столь же скуп на раскрытие своего материала и ведет его изложение вне точных хронологических определений. После всего вышеизложенного это затрудняет для читателя принять заключения автора без более пристального рассмотрения документальных оснований этих заключений. Мы не имеем возможности полностью произвести здесь эту работу, ибо это завело бы нас слишком далеко. Но думаем, что автор здесь забывает, о чем ему надлежит говорить и какой вопрос ему надлежит исключительно иметь в виду: из материалов, собиравшихся когда-то для истории церквей и при-

⁵⁶ Там же, отд. II, стр. 1258.

⁵⁷ Там же, стр. 1274, 1277, 1286, 1295.

ходов Владимирской епархии, ему надлежит произвести тонкую операцию извлечения «старых» черточек погостов как центров дофеодальной территориальной общины.⁵⁸ Но что сказать, когда Н. Н. Воронин берет 144 погоста Владимирской губернии («старых», «до XVII в.»), по карте устанавливает, что из них 105 расположены по течениям рек, «а не на водоразделах», и делает вывод, что «это говорит об архаичности погостов, как поселений», так как-де водоразделы «заселялись позднее»? (стр. 32; разрядка наша,—Б. Р.). Какова эта «архаичность», если у самого автора немногим выше находим два примера основания погостов заново в конце XVI в. — одного на реке Вохонке во Владимирском же уезде и одного у озера Бородавского в Белозерском крае, а в примечании к стр. 32 автор и сам делает оговорку о «возможности возникновения погостов в приречных и приозерных районах в результате позднейшей колонизации XV—XVI вв.»? После этого сделал ли автор хоть одну попытку проверить, не появились ли некоторые погосты, расположившиеся на «водоразделах», не в XVI в., а в более ранние времена? Или это никак не различимо? Без ответа на этот вопрос все приведенное теоретико-географическое замечание автора висит в воздухе.

Дальше — не лучше. Что сказать о непосредственно следующем, втором обобщении автора — что «ряд волостей XVI—XVII вв. имеет своим стержнем» реку или водоем и «возглавляется приречными погостами»? Волости здесь — административные деления, а не «общины», во-первых, а в двух примерах автора эти административные деления включают в себя 2—3 погоста, и ниоткуда не видно, чтобы «возглавлялись» ими, во-вторых. А автор думает, что «возглавляются»! Это поразительное открытие в сфере административного права о возглавлении одного округа тремя пунктами настолько уникально в интернациональном масштабе, что, кроме изумления, ничего вызвать у читателя не может. Два же других примера ничего не говорят о погостах: «Гусская волость по р. Гусю», «Колпская волость по р. Колпи» — и только. Подобного рода примеры административных делений, связанных с реками, автору не хватило бы никакого места перечислять в исследовании о погостах-общинах. Наоборот, соблазнительно думать, что ему вовсе почти не потребовалось бы и места, чтобы привести

⁵⁸ В. Березин и В. Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1893—1898; В. И. Холмогоров и Г. И. Холмогоров. Материалы для истории церквей Владимирской губернии. М., типография «Русского товарищества», 1911.

пару волостей, лишенных какого-либо водоема или речушки. Автору точно не хватает примеров: попробуйте по его ссылке найти что-нибудь о волостях или погостах на стр. 729, ч. I, отд. I Писцовых книг Московского государства — вся эта страница посвящена испомещению новиков без каких-либо указаний на населенные пункты! Не меньшее удивление вызывают смелое производство Н. Н. Ворониным, без объяснения причин, двух населенных пунктов или округов, Ярополча и Медушей, упоминаемых в договорной грамоте 1389 г., в ранг «погостов» и подчеркивание «глубокой древности» их.⁵⁹ Для XIV в. мы знаем только, что это не деревни, так как меновая их ценность считалась между князьями равной ценности Ржевы. И мы ровно ничего не знаем о «древности» их, если автор не понимает тут под древностью конец XIV в.: для темы работы автора это не древность, а самая подлинная современность.

Наконец, третье общее наблюдение автора относительно владимирских погостов: что «волостное и позднейшее (?) ставное деление во многих случаях исходило из погостской системы, а вместе с этим погост переживал превращение в административно-церковный по преимуществу центр» (стр. 32; разрядка наша, — Б. Р.). В подтверждение автор приводит примеры одноименности административных делений и погостов в них. Натурален при этом вопрос: новое деление приняло имя старого погоста или новый погост принял имя старого деления? Автор этим вопросом не задается, но некоторые примеры наводят на неблагоприятный для «погостской системы» ответ, а все прочие нейтральны. Волостка Баглач (она известна еще в 1504 г.)⁶⁰ — погост Баглачевский: тут ясно производное название погоста. Таково же соотношение, вероятно, и Славецкой волости — Славецкого Георгиевского погоста (т. е. был Георгиевским церковным пунктом, стал Славецким административным центром и удвоил название). Тут же либо двуголовая «Талецкая волость — погост(ы)? — Б. Р.) Талецкий и Староникольский», либо здесь двойное название погоста, но тогда которое же первоначальное?

«Многие случаи» подобного рода ограничились у Н. Н. Воронина в тексте всего 6, а в примечании он дополнил их еще 4, из которых один пример опять бицентрической, а один даже трицентрической волости, а два остальных неоднородны. Хронология всех этих примеров автором не указывается. Но один

⁵⁹ СГГД, ч. I, № 35, стр. 63. — В жалованной грамоте митрополита Макария Спасо-Евфимьеву монастырю 1561 г., например, упоминается «Медушская десятина»: «в их селе в Мугрееве, в Стародубе, в Ряполовском, в Медушской десятине» (см.: Архив Строева, т. I, стр. 438, № 214).

⁶⁰ ААЭ, т. I, № 139, стр. 111.

раз любители церковной старины завлекли автора со своими церковными погостами открыто в 1637—1647 гг., привели его даже не в погост, а в стан «Муромское сельцо» — и совершенно бесполезно: стан не возглавлялся никаким погостом, а его 8 «кромин» не подтвердили общего вывода автора, ибо 6 из них имели по одному погосту, одна — опять целых два, а одна (Шейнская) — ни одного (стр. 33).

Итак, на этом владимирском материале автор: 1) не показал никакой «архаичности» погостов; 2) не показал даже победы приходско-погостского деления над светски-административным — там, где хотел показать гораздо больше, т. е. победу погостско-общинного, доцерковного, районирования над районированием приказно-административным, и 3) на ряде примеров подорвал у читателя надежду на то, что в собранном владимирском церковно-историческом материале можно вообще что-либо найти для исследования проблем XI—XV вв. в ретроспективном плане.

До сих пор у читателя не было повода и помыслить, что погосты в Северо-Восточной Руси были «явлением» не «автохтонным»: самое большее, могло иногда закрадываться подозрение о заимствовании только термина «погост». В заключение главы о погосте Н. Н. Воронин сам ставит вопрос о неавтохтонности «явления» и о возможности связывать его, например, с «новгородской колонизацией». При сотнях нейтральных наименований северо-восточных погостов едва ли кого смутят два-три названия, вроде «погост на Ильменах» или «погост Нередичи». Не стоило бы и останавливаться на доказательстве Н. Н. Ворониным «автохтонности» погоста-«явления» в нашей связи, если бы автор здесь не вернулся попутно к существу самого «явления».

Автор приводит таблицу погостов бывшей Владимирской губернии по наличности их по уездам, по-видимому, на вторую половину XIX столетия. По его мнению, таблица эта показывает «очень ровное и повсеместное» их географическое размещение и устанавливает ясно «автохтонность» их (стр. 33, 34). Но она же, на наш взгляд, дает и еще два интересных наблюдения. Первое — это консервативность, относительную устойчивость церковно-приходского деления на протяжении XVII—XIX вв. Из 156 погостов — «старых» 144, «новых» всего только 21, исчезло с лица земли («был погост») всего 23. Второе — что «старые» погосты не все были «приречными» (это отмечено в особой графе), а выяснить «приречность» или нет «новых» погостов автор не позаботился. Если они все приречные, то что же тогда окончательно будет с «архаичностью» погоста-«явления»? Наоборот, о «ровности» (т. е.

равномерности?) размещения погостов таблица судить вовсе не позволяет: автор не позаботился привести хотя бы размеры площади уездов или населенности их хотя бы на XIX столетие. Мы готовы, впрочем, принять на веру, что это так. Но дальше с самим собой уже не соглашается сам автор. Он утверждает, что «вокруг старых городских центров — Суздаля, Юрьева, Переяславля и Владимира — погостов нет или они редки» и «существуют вдали от городов». Чтобы быть убедительным, тут автору надлежало дать наглядную схему-карту: если группировать города только по таблице, то Шуйский и Меленковский уезды имеют такие же однозначные цифры «старых» погостов (8 и 5), как и названные четыре (8, 9, 4, 8, остальные же поуездные цифры колеблются между 10 и 23). Допустим пока, что и это так. Автор ставит отмеченную им особенность 4 старых городов в связь с двумя мнимыми фактами: 1) с наличием якобы многочисленных погостов вблизи Суздаля в начале XII в. (выше на стр. 344 мы указали на несостоятельность толкования автором летописного текста 1107 г.) и 2) с тем, что в XI в. «восстания смердов вспыхивают в непосредственном соседстве старых городов Суздаля и Белоозера». Последнее тоже неверно: в 1024 г. «мятеж велик» «в Суждали» был «по всей стране», а восстание 1071 г. началось по отношению к Белоозеру с почтенной дистанции порядка 600 км, с Ярославля, и, продвигаясь по Волге и Шексне, повстанцы подошли к Белоозеру в последнюю очередь, но, потерпев, не доходя до города, поражение, поднять восстание там не успели.⁶¹

Из этих двух мнимых фактов автор делает вывод, что процесс феодализации «особенно интенсивно развивался именно в ближайшей периферии старых городов», и подкрепляет его третьим мнимым фактом, именно тем, что «наряду с „погостами“ источники говорят и о пригородных „селах“» (стр. 34; разрядка наша, — Б. Р.). Само по себе положение это (в части, касающейся процесса феодализации) довольно вероятно для начальной стадии процесса, а, в результате непрерывного его развития, к XVI в. мы уже почти не видим черных волостей не только в уездах этих старых городов, но и во всем междуречье.

Но насчет «пригородных сел» мы не нашли здесь у автора ссылки на «источники», и под ними остается разуместь все тот же произвольно перетолкованный текст 1107 г. Именно от этих старых городских центров идет, думает Н. Н. Воронин, наступление «княжеских и боярских владений», «сел и деревень»,

⁶¹ Лавр., стр. 144, 170—173.

«врезаясь в волостные земли» и «снимая роль самого погоста как волостного центра». И вот у читателя является вопрос: если верно, что погосты в этих именно уездах существуют еще в XVI—XIX вв. «вдали» от этих городов, то почему они все же сохранились хотя бы и на периферии? Иными словами: почему и когда точно совершился какой-то перелом в методе, что ли, феодального наступления, как будто это было наступление физически плотного фронта, сносившее старые погосты подчистую и где-то, не доходя до границ, на самой периферии вдруг прекратившее это «снятие роли погоста»?

Со своей стороны, мы думаем, что наблюдение автора, если оно точно, исторически случайно и требовало бы, если на нем настаивать, проверки на большем количестве «старых городов» и их районов, которая и вскрыла бы его случайность. Тем более что у нас нет никаких данных считать эти уцелевшие на периферии погосты центрами недобитых старых территориальных общин, а не феодальными церковными новообразованиями, в которых для XVI в., как мы показали выше, и автору не удалось подметить черты их дофеодального происхождения.

Да не подумает читатель, что мы отрицаем дофеодальную территориальную сельскую общину на русском северо-востоке и представляем себе там для тех времен сельские поселения в виде «заимки отдельной семьи», ни с чем не связанной. Мы отрицаем здесь существование «погоста-волости», как выражается Н. Н. Воронин. Задаваться проблемой «погоста-волости», как он сделал, значит задать себе трудную задачу прикрыть маленькой шапкой большую голову, а часто и одну голову двумя-тремя шапочками, что уже и вовсе невозможно. Скажем прямо: мы отрицаем терминологический подход автора к проблеме «территориальной общины с малой семьей в основе» и обратно — унифицирующий, обезличивающий подход его к истории термина «погост». Автор насильственно соединил две задачи и хочет обе их решить в один прием. Это связано с риском не решить ни одной, а решать их вместе — разойтись и с источниками, не щадя ни письменных, ни археологических.

Слобода

Глава IV (стр. 36—41), посвященная так называемым «свободам», или слободам, затрагивает вопрос слишком бегло и не отличается убедительностью. Автора не удовлетворяет старое «стабильное» понимание «свобод», как феодальных поселений на льготе. Он считает необходимым «учитывать изменение смысла самого термина, который отнюдь не мог покрывать

одного и того же содержания для XI—XII или для XIV—XV вв.» и «на разных этапах» своего существования «обозначал» «появление новых отношений» (т. е. просто, вероятно, новые отношения). Автор здесь опять унифицировал термин и явление: двум «этапам» существования термина должны соответствовать два этапа в развитии явления или наоборот.

Откуда явилась эта периодизация, которая прошла бесследно для погостов, автор не объясняет, равно как и то, куда пропал здесь тот XIII в., который, например, М. К. Любавский считает для Ростово-Суздальской земли веком преобладания «слобод наряду с погостами» как групп поселков.⁶² Автор, кстати, совершенно неосновательно навязывает М. К. Любавскому мысль, что татарское завоевание «объясняет» появление слобод, между тем как «развитое состояние слобод» фиксировано источниками для XII в.: но и М. К. Любавский фиксирует их «преобладание» уже к моменту «татарского погрома» и вовсе не «выводит» зависимость «производителя» из внешнего фактора — «татарского погрома» (стр. 37). Различие между автором и М. К. Любавским лишь в том, что последний «не пытался внести в массу упоминаний о свободах хронологическую разницу», как выражается Н. Н. Воронин, а наш автор на этой разнице настаивает, однако же совершенно игнорируя момент татарского завоевания в экономическом и социально-политическом развитии Северо-Восточной Руси, да и ничем иным не мотивируя провал в своей схеме и всего XIII в.

Следуя за М. К. Любавским, автор исходит из «противоположения» и «соседства» одновременно погостов и слобод в источниках. Мы уже видели, что это не совсем точно для Устава Владимира. Это не совсем точно и для летописных текстов (например, в Новгородской V летописи: татары в 1237 г. «взяша городов 14, опроче слобод и погостов и сел»;⁶³ в Лаврентьевской летописи: в 1409 г. татары «по всем погостом и селом крестьяном зло створиша»)⁶⁴ Но и вытекающее из этого якобы парного сопоставления предположение, что, в противовес погосту — подданной общине, под свободой «скрывается тоже территориальная община», «ни в какой мере не охваченная феодальной эксплуатацией» и «размещавшаяся преимущественно на окраинах княжеств», — кажется ему «модернизацией» и термина и явления, и решение вопроса, что такое слобода первого этапа, автор ищет «гораздо глубже».

⁶² М. К. Любавский, ук. соч., стр. 13.

⁶³ ПСРЛ, т. IV, Пгр., 1917, Новгородская V летопись (в дальнейшем: Новг. V), стр. 210.

⁶⁴ Лавр., стр. 510.

Ввиду «скудости сведений» автору приходится давать два «вероятных» ответа на этот вопрос. Один, действительно, очень вероятен, но ломает все «этапы» и соединяет XI—XII вв. с веками XIV—XV: слобода — это «поселок ремесленников», «городского», «непашенного характера» (стр. 38, 41). Смушаясь отсутствием на этот предмет «письменных источников», автор ссылается на стих былины о Добрыне («досель Рязань-город слободой слыла, нониче Рязань слывет городом») и на следы слобод в Рязани. Второй ответ: слобода — это «распространенный вид сельского поселения». Но тут уже выступают «этапы», и, чтобы их не ломать, автор выставляет предположение, что «свободы» — это «поселки рабов на господской земле». Это поистине, как сознается и сам Н. Н. Воронин, «с трудом укладываемый в наше сознание аспект „свободы“!» Читатель действительно чувствует себя здесь попавшим на каучуковую плантацию, где ему предлагают галоши из синтетического каучука, заверяя, что кругом яблони. Но попробуем понять все же ход мысли автора этой гипотезы.

Н. Н. Воронин взял словарь И. И. Срезневского и обнаружил, что состояние свободы в древнем русском языке противоположно состоянию рабства (как и в современном, впрочем). Это «наметило» ему тут же «связь свобод (поселений) с рабством». Эту связь подтвердили ему два текста: один из Лаврентьевской летописи 1158 г., другой — известное сказание о начале Москвы, изданное А. Д. Чертковым.⁶⁵ Первый говорит о том, что Андрей Боголюбский дал Успенскому собору во Владимире «много именья и свободы купленные и с даньми, и села лепшая, и десятины в стадах своих и торг десятый». Автор попробовал эти «свободы» понять в мужском роде, как «рабочую силу» «свободов» (!) двух разновидностей: свободных людей купленных и свободных людей данников. С последними вышло неловко уже просто грамматически, и автор вернулся к трюму, с чего следовало начать: свободы — это поселения, а не люди. Свободы стоят в тексте «на первом плане», села — на втором. Что из них лучше: свободы или села? — спрашивает автор. И отвечает: села, хотя они и на втором месте. Почему так? — недоумевает читатель. Потому что, отвечает автор, села — «лепшая часть пожалования!» Но, ведь, «села лепшая» — это «самые лучшие из сел», так же как торг десятый, ведь, не десятая часть пожалования! Автор взял из текста понравившееся ему прилагательное, приставил его к слову «пожалование» и продолжает: «отсюда следует, что свобода по-

⁶⁵ Временник ОИДР, кн. XI, разд. III, «Смесь», стр. 25—29.

сравнению с селом пользовалась меньшим значением в составе княжеского феодального хозяйства».

Затем автор взял второй текст, где свободы Степана Кучки (впрочем, как и села) «именуются красными» (т. е. красивыми), назвал Кучку «старым боярином Суздальщины докняжеского времени» (хотя сказание трактует в одном варианте о середине XIII в., в другом о середине XII в., т. е. о времени, совсем близком Андрееву пожалованию) и заключил, что слободы здесь были «наилучшим элементом хозяйства» (как и села? стр. 39). При оптимальном для Н. Н. Воронина варианте датировки предмета сказания (XII в.) слободы Андрея оказывались моложе слобод Кучки на каких-нибудь 20 лет. Автор ухитрился за эту ничтожную гипотетическую хронологическую разницу, чтобы из этих двух фантастических неверных толкований заключить, что «свободы представляли более архаичный этап в развитии сельского поселения по отношению к селу княжеского феодального хозяйства» (стр. 39).

Представление о темпах американской техники XX в. автор перенес на исторические темпы Суздальщины XII в., и в какие-нибудь два-три десятилетия суздальская слобода обратилась у автора в архаизм, исторический утиль. Редактор работы Н. Н. Воронина полагает, что с приведенным заключением «трудно согласиться»: мы думаем, что согласиться с заключением, выведенным из двух элементарно неверных чтений, невозможно.

От этого неверного положения, ценой подбавки к одному слову трех лишних букв, автор «подходит» к описанной своей гипотезе с помощью той мысли, что «более» архаичному этапу в развитии сельского поселения должна соответствовать «наиболее» архаичная «категория феодальной зависимости», т. е. рабство. Таким-то путем и встретились и связались исторической связью две противоположности: «свобода» и рабство.

Итак, слободы Андрея Боголюбского — это поселки рабов на господской земле. Их здесь два вида, по мнению Н. Н. Воронина: 1) слободы купленные — это «только что заведенные поселки, временно обеленные от несения феодальных повинностей», и 2) слободы «с данями» — поселки, срок льготы которым истек.⁶⁶ Оба вида — «пережиточные» по отношению к селу, «лучшей» форме сельского поселения. Автор, должно быть, и не заметил, как этим он создал прекурьюзное положе-

⁶⁶ Здесь один вид «свобод». «Свободы купленные и с данями» синтаксически то же, что: «вда княгини 5 сел и с челядью» (ПСРЛ, т. II, изд. 2, Ипатьевская летопись, стлб. 493; в дальнейшем: Ипат.). Слобода созревала до товарности, когда начинала давать доход в виде разнообразных сборов (не дань, а «даней»).

ние: Андрей сбыл Успенскому собору гнилой товар в некоем принудительном ассортименте, а летописец литературно замел следы этого происшествия, поставив слободы впереди сел. Ни к чему иному и не могла привести вымученная гипотеза автора.

Независимо от ее оценки мы имеем косвенное, но реальное основание предполагать, что Андреевы слободы были «городского характера» «ремесленными поселками», вроде былинной Рязани, превратившейся из слободы в город: подобное предположение могло бы объяснить происхождение Гороховца. «града св. Богородицы», ставшего на Клязьме недалеко от впадения ее в Оку, на самом пути болгарского торгового пути, и пожженного татарами в 1239 г.⁶⁷ 80 лет — не малый срок для того, чтобы при таком благоприятном местоположении из слобод мог вырасти город. Допустить же, что Гороховец был пожалован собору в готовом виде, как город, мешая молчанию о том летописца, который не преминул бы записать о таком крупном событии в жизни Успенского собора, этой главной святыни северо-восточной церкви.

Так как при этом у Андреевых слобод в тексте нет никаких признаков сельского земледельческого поселения, а предание о «красных слободах» Кучки записано, да и сочинено уже в эпоху расцвета Москвы и тоже не носит никаких признаков и архаичности слобод, то у историка нет ни оснований, ни нужды зачислять поселения этих текстов по разряду поселений рабов-земледельцев. И вопрос о слободах — холопних поселках остается решать в связи с общими представлениями о социально-экономическом строе XI—XII вв.

Для земледельческих поселений рабов в распоряжении историка имеется и четкий термин («села с челядью»), и четкое представление об этом явлении, почерпаемое и из литературных памятников, и из Русской Правды, статьи третьей редакции которой о закупах и холопах обнаруживают лихорадочную борьбу феодалов за порабощение массы неустойчивой и текучей рабочей силы по всякому поводу.⁶⁸ Слободы — земледель-

⁶⁷ Лавр., стр. 446.

⁶⁸ Патерик Киевского Печерского монастыря, изд. Археографической комиссии. СПб., 1911 (в дальнейшем: Патерик), стр. 17: фигура Феодосия, предающегося земледельческим работам «с рабами» «на селе»; стр. 84: фигура Святоши, оставившего в миру «и жену, и дети, дом и власть, и братию, други и рабы, и села». Лавр., стр. 415: «сильные бояре», «работящие сироты»; стр. 146: «посажение» Ярославом пленных «ляхов» по Руси. — Примечательна судьба этого последнего текста у нашего автора: для слобод (стр. 40) он приводит его в подкрепление своей гипотезы, для сел (стр. 43) он использует его в характеристике населения сел — выразительная иллюстрация к тому, что «по содержанию» у автора разницы между селом и слободой XI—XII вв. не остается. Ср. также цитируемый

ческие поселки рабов на господской земле в этой социально-экономической обстановке представляются надуманным и исторически необъяснимым (и во всяком случае не объясненным автором) повторением сел, новым термином (термин «село» старше — X в.) для старого содержания.

Во имя своих «этапов» Н. Н. Воронин этой своей конструкцией создает два этапа в истории термина «слобода» (при том, только земледельческая) и два разнородных явления, не объединенных у него никакой эволюционной связью. Его земледельческие поселки-слободы мыслимы только с освобожденными рабами. Но для XI—XII вв. в таком виде они мыслимы или в церковной сфере как социально-педагогический агитационный прием в помощь проповеди «душеспасительных дел» в любой церкви, кажется, имевший экономическую подкладку, или в сфере княжой, где эту раннюю разновидность князя-Онегина, сохраняющего «села с челядью» и одновременно заменяющего ярем барщины старинной легким оброком для неосвобожденных рабов, надо специально и обосновать.

А для второго «этапа» (XIV—XV вв.), которому автор посвящает всего несколько строк, даже если он откажется от своей гипотезы для первого «этапа», все же остается неразрешенной задача — объяснить возникновение в XIV в. слобод — земледельческих поселков свободных и вступающих в зависимость от феодала производителей — общими условиями социально-политического развития и поставить на место «татарской» теории, приписываемой автором Любавскому, какую-либо иную, не связанную с «внешними факторами». Этого у Н. Н. Воронина нет и следа.

Так обстоит дело у автора со вторым термином для обозначения сельского поселения. Перейдем к третьему термину — «селу». Здесь у автора тоже не без гипотез и не без попытки установить «этапы».

Село в Киевщине

Не «село», как «место жилья», не «село земли», как в северных актах обозначался участок пашенной земли с двором на нем, является здесь предметом исследования Н. Н. Воронина, а «село» в его «специфическом значении» «особого вида феодального поселения» (для Северо-Восточной Руси), «раз-

автором (стр. 39) и неверно толкуемый текст Григория Назианзина, рекомендуящий душеспасительный для феодала поступок: «рабом свободу и селом купленным отступление», т. е. отпуск на волю холопов и отказ — а не «снижение повинностей», как толкует Н. Н. Воронин, — от благоприобретенных сел, — текст и совет, имеющие в виду распространенный общественный тип «собирателя», скупщика сел с челядью.

вивающегося в ногу с развитием феодальных отношений» (стр. 41). Но так как такое «село» «не является местной особенностью северо-востока», автор обращается прежде всего к «Украине», для которой источники дают не только «наиболее ранние ... сведения о селах», но и «историю возникновения и развития» (разрядка наша, — Б. Р.).

Однако именно на «возникновении» села автор не останавливается вовсе. Он довольствуется наблюдением, по суммарному перечислению летописных текстов с упоминанием термина «село», что «с XI в. село начинает непосредственно интересоваться феодалов», не разъясняя даже, почему с XI в., когда его же тексты упоминают явно владельческие села еще в X в. Села, которые попадают в летописи с собственными наименованиями, автор правильно считает уже «феодальной собственностью» князей. Села, о которых тексты выражаются «села наши», автор считает «княжескими, боярскими, церковными».

Но его же тексты знают и не «наши», а просто «села». Автор попросту идет мимо этого обстоятельства и декретирует: село «уже на ранних ступенях феодализма является поселением, принадлежащим феодалу» (стр. 43). От сельских поселений, «еще не освоенных феодалами», автор отмахивается полужаргой, что они «несомненно существовали», только «летописец мало говорит о погосте, верви, наконец, архаическом дыме». Это просто не соответствует действительности. О погосте на «Украине», как выяснил выше сам автор, летопись ничего не говорит, о верви — тоже абсолютно ничего, а «дым» — это в летописных текстах не поселение, а единица данного обложения.

У Н. Н. Воронина странное представление о «княжеском историографе»: весь его язык и мышление, как и политический кругозор, приспособлены якобы только для работы над объектами «феодальной» собственности, и население, которое платит дань, вовсе не интересует его. Боимся, что это больше самого автора не интересует украинное сельское поселение, «не освоенное феодалами». Только глубочайшее равнодушие к этому предмету могло породить неожиданное открытие автором неслыханного до сих пор вида поселения — «жита» (от среднего рода «жито»), о котором он, однако, и сам не пожелал больше ничего сказать и по ведомству которого читателю только и остается зачислить всех южных данников-земледельцев свободных смердов-общинников (стр. 43). Это от того, что автор не дал себе труда проанализировать ни все подлежащие тексты с термином «село», ни все те тексты, которые вскрыли бы ему, что такое это новоявленное поселение — «жито».

Судя по его изложению, автор или не поинтересовался заглянуть в Русскую Правду в данной связи или стал жертвой Сергеевича, заглянув только в его указатель к изданию Правды, где Сергеевич пропустил этот неинтересовавший его термин. А он в Правде есть (третья редакция, ст. 102). Правда при этом хорошо знает «феодалное хозяйство» и, можно сказать, бдительно занята его охраной.

Но термин «село» в XII в. не приобрел еще в «украинном» языке нужного Н. Н. Воронину «специфического значения», о чем и свидетельствует ст. 102 третьей редакции. В ней речь идет о погоне за татем: «аже погубят след на гостиньце на велице, а села не будет, или на пусе, где же не будет ни села, ни людей, то не платити ни продажи, ни татьбы», но «оже будет след к селу или к товару, а не отсочать от себя следу и не идуть на след или отобьются, то тем платити и татьба и продажа».

Это целая картина большой торговой дороги, идя по которой, потерпевшие могут по следу дойти или до купеческого каравана или до села, и тогда дело завершится уплатой наступившими третьими лицами — если они откажутся принять участие в гонении следа — и «продажи» (князю) и «татьбы» (потерпевшим). Но на этой же большой дороге потерпевшие могут потерять след, не дойдя до села, как могут они потерять след и не на дороге, а на пустыре, куда отклонит их след и где не будет ни села, ни людей, — и тогда отпадет «продажа» и «татьба».

Имеет ли в виду здесь Правда «село» феодальное? Она не может здесь иметь в виду «села с челядью»: «холопей князь продажею не казнит, занеже суть не свободни».⁶⁹ Она не имеет здесь в виду и села со смердами-закупам: если закуп что-либо украл, а господин за него заплатит, то закуп обращается в холопа,⁷⁰ а не захочет за него господин платить из своих средств, то продаст его, а вырученную сумму разделит надвое: заплатит за предмет, украденный закупом, а «прок», остаток, возьмет себе, т. е. продажи нет и в случае с закупом. Статья 102, значит, имеет в виду свободную сельскую общину, ответственную круговой порукой. Если автор усмотрит здесь в «селе» «деревню, заимку отдельной семьи», мы с ним не согласимся, но не станем и спорить — настолько это будет идти вразрез с марксизмом и явно неверно.

Такое «не освоенное еще» село автору следовало бы поискать и в летописи или во всяком случае анализом текстов

⁶⁹ Русская Правда в четырех редакциях, изд. В. Сергеевича, ст. 37, а также ст. ст. 153—155.

⁷⁰ Там же, ст. 85.

исключить такое село из летописного языка, а не ставить своего читателя только перед мельканием лаконических словесных цитат. Рассказ о крещении Руси «упоминает о градах и селах», или половцы захватили «села без учета с людьми, смужи и женами»: разве здесь в такой передаче видно, что это уже «освоенные» села? Или «демократические заботы Владимира о смерде и его селе на Долобском съезде касаются, конечно, феодально-зависимого смерда и свидетельствуют о господстве новых отношений» (стр. 43; разрядка наша, — Б. Р.): «конечно» — и все тут, пошли дальше! Н. Н. Воронин, полагая, слишком упрощает свою задачу, злоупотребляя подобным приемом. Решительно, в частности, мы не можем согласиться, что с толкованием Долобских текстов все покончено в нашей литературе и что в специальном этюде о «селе» можно так смело пройти мимо самостоятельного изучения одной из конкретнейших групп текстов, которые и так-то все на счету у историка древности. Присмотримся ближе к этим текстам (Лавр., 1103 г.; Ипат., 1103 и 1111 гг.).

Основным содержанием их является рассказ о двух походах князей на половцев. Но рассказ этот предварен вводной частью, прологом, который описывает совещание с участием двух князей и двух дружин, собиравшееся в Долобске по вопросу о том, идти ли раннею весной в поход на половцев, как предлагал Мономах. Эта вводная часть дает как бы стенограмму феодального совещания — в виде драматизированного литературного произведения «княжеского историографа», имеющего здесь целью еще и еще прославить своего героя, Владимира Мономаха. Но попутно оно дает и некоторые черты реальных отношений и социального и политического порядка.

Понимание всей совокупности этих черт ведет к тому или иному пониманию и «села», фигурирующего в прологе текста 1103 г. и отсутствующего в прологе 1111 г. Вопросом о «селе» специально не интересовались здесь и последние комментаторы долобского эпизода (С. В. Юшков и Б. Д. Греков). Остановимся на последнем комментарии, данном Б. Д. Грековым и, по-видимому, целиком принятом нашим автором.⁷¹

Если бы Н. Н. Воронин дал себе труд ознакомиться со всеми тремя вариантами Долобского пролога, он заметил бы, что о «селе» речь идет в вариантах 1103 г. и термин этот выпал в варианте 1111 г. Между тем Б. Д. Греков — для своих целей, не столь специальных, как у нашего автора, — предпочитает вариант 1111 г. и берет из него отрывок, дающий, по

⁷¹ Б. Д. Греков. Феодальные отношения в Киевском государстве. Л., 1936, стр. 93.

его мнению, «очень характерную деталь» против варианта 1103 г., существенную для его построения, и ничего не говорящий о «селе». Сопоставим оба варианта целиком, выделив скобками цитату Б. Д. Грекова и сохранив его курсив.

1103 г.⁷²

Бог вложи в сердце князем Русским [мысль благо] Святополку и Володимиру, и снястася думати на Долобьске; и седе Святополк с своею дружиною, а Володимер с своею [дружиною] в едином шатре. И почаша думати и [начаша] глаголати дружина Святополча: «яко негодно ныне [не веремя] весне ити [воевати], хочем погубити смерды и ролью их». И рече Володимер: «дивне ми, дружино, оже лошадей жалуете [лошади, кто жалует], ею же кто ореть; а сего чему не промыслите [рассмотрите], оже то начнеть орати смерд и приехав половчин ударить [смерда] и стрелою, а лошадь [кобылу] его⁷³ поиметь, а в село его ехав [въехав] иметь жену его и дети его,⁷⁴ и все его именье [возмет]? то лошади [его] жаль [жалуешь], а самого не жаль ли [чему не жалуеть]?». И не могоша [противу ему] отвещати дружина Святополча. И рече Святополк: «[брате] се яз готов уже»; и вста Святополк, и рече ему Володимер: «то ти, брате, велико добро створиши земле Русской». (Далее идет описание похода, — Б. Р.).

1111 г.

Вложи бог Володимеру в сердце и нача глаголати брату своему Святополку, понужая его на поганья на весну. Святополк же поведа дружини своей речь Володимерю. Они же рекоша: «не веремя ныне погубити смерды от рольи». И посла Святополк к Володимерю глаголя, да быхови ся сняла и о том подумали быхом с дружиною. Послании же приидоша к Володимеру и поведаша всю речь Святополчу. И прииде Володимер и средостася на Долобьске и [седоша в едином шатре. Святополк с своею дружиною, а Володимер с своею, и бывшу молчанью. И рече Володимер: «брате, ты еси старей, почни глаголати, како быхом промыслили о русской земли». И рече Святополк: «брате, ты почни». И рече Володимер: «како я хочю молвити, а на мя хотять молвити *твоя дружина и моя*, рекуше: *хощеть погубити смерды и ролью смердом?*]. Но се дивно мя, брате, оже смердов жалуете и их коний, а сего не помышляюще, оже на весну начнеть смерто тот орати лошадью тою и приехав половчин, оударить смерда стрелою и поиметь лошадьку и жону его и дети его и гумно его зажать, то о сем чему не мыслите». И рекоша вся дружина: «право, во истину так есть». И рече Святополк: «се яз, брате, готов есмь с тобою». (Далее идет описание похода, — Б. Р.).

В обоих случаях, как видим, на Долобском совещании единственным аргументом прот и в раннего весеннего похода (в пер-

⁷² Для 1103 г. даем Лаврентьевский текст, отмечая существенные отличия Ипатьевского в скобках.

⁷³ В Ипатьевском тексте в двух списках «его» есть, в одном «его» опущено (см. варианты).

⁷⁴ В Ипатьевском тексте «его» опущено.

вом случае это начало апреля, во втором — март) выставлялась судьба яровых смердых полей, аргументом за — неизбежность нападения половцев и тогда неизбежность разорения всего хозяйства и угон семьи смерда. Привлекшее внимание Б. Д. Грекова отличие варианта 1111 г. заключается в том, что в варианте 1103 г. аргумент этот приписан только святополковой дружине, а в варианте 1111 г. он оказывается достоянием обеих дружин и получает как бы общегрупповой, классовый характер. Предпочтя этот последний вариант и приведя взятую нами в скобки цитату, Б. Д. Греков и ставит и решает вопрос в общегрупповом масштабе: «чем объяснить заинтересованность дружинников (вообще, — Б. Р.) в смердых пашне, как не тем, что эти (разрядка наша, — Б. Р.) смерды жили в селах дружинников и были обязаны отдавать часть прибавочного труда своим господам».

Мы думаем, что такое решение неправильно, и попытаемся это сейчас показать. Но мы вполне, однако, согласны с Б. Д. Грековым в его широкой трактовке термина «смерд»,⁷⁵ который, по его мнению, покрывает всю «основную массу сельского населения, обложенного данью» («свободных смердов»). Мы особенно согласны с ним, когда он, в подкрепление этого положения, ссылается как раз на занимающий нас сейчас текст, именно на «знаменитую речь Владимира Мономаха на Долобском съезде», которая «несомненно рисует нам смерда пахарем, имеющим свою лошадь, гумно и всякое имение»⁷⁶ и «село», добавим мы по варианту 1103 г. И именно поэтому мы недоумеваем, как у комментатора раздвоились здесь одни и те же смерды одного и того же текста на «свободных смердов» — в устах Мономаха и «этих», господских, смердов — в устах дружинников. Ни малейших следов такого *quaternio terminorum* наш текст не сохранил, и эту логическую ошибку приписывает в него сам Б. Д. Греков. Наоборот, согласие «всей дружины» (варианта 1111 г.) с аргументацией Мономаха указывает на то, что обе стороны в прениях имели в виду один и тот же предмет. «Намеки» на то, что «вся дружина» была собственнически заинтересована в «этих» смердах, Б. Д. Греков видит в иных текстах: двух, где упоминаются «села» (не смерды!) дружинников (Ипат., 1146 и 1150 гг.), и одном, где упоминаются села же черниговских князей (там же, 1148 г.). Мы не видим здесь никакого намека, идущего к нашему прологу, особенно в последнем, княжеском, случае. Эти три текста (число их можно приумножить) дают указание на боярское, дружинное землевладе-

⁷⁵ См.: Б. Д. Греков, ук. соч., стр. 84—87.

⁷⁶ Там же, стр. 86.

ние. Но едва ли кто и помыслить может о безземельных боярах в XII в. Вопрос о том, какова была рабочая сила в «селах» текстов 1146 и 1150 гг., — на это тексты не дают никаких указаний и намеков.

Следуя за комментатором в выборе варианта 1111 г., но и беря этот вариант не в отрыве, а целиком, мы не можем согласиться с его выводами. Как нет у нас ни поводов, ни оснований ограничивать политический кругозор «княжеских историографов» одной «феодалной собственностью», так нет у нас ни поводов, ни оснований ограничивать теми же масштабами и кругозор княжеских бояр и дружинников огулом. Не пожелал использовать этого литературно выигрышного для вырисовки Мономаха момента и его панегирист: он не вложил дружинникам в уста аргумента, например, о «наших» смердах и не вставил соответствующего упрека в собственническом шкурничестве в ответную речь Мономаха. Мономах, у его панегириста, выигрывает в прениях на хозяйственной и политической дальновидности и находчивости; дружина пасует, избалованная в недоучитывании всех подробностей последствий отказа от инициативы наступательных действий против половцев. Мы не знаем мотивов нежелания — обеих ли дружин или одной святополчей, как в варианте 1103 г., безразлично, — двигаться в ранний весенний поход. Возможно, что самое предложение Мономаха об организации наступательной, активной обороны против половцев было смелой новостью. Но среди разных мотивов (в том числе и невысказанных) мог быть здесь и тот, о котором говорит Б. Д. Греков, ибо подняться в большой поход для феодала значит поднять за собой часть сил и средств своего феодала.

Однако сводить к этому гипотетическому мотиву все — было бы произвольным упрощением. Во всяком случае рассказ летописи формулирует возражение дружины в общей форме — и под смердами мы обязаны понимать здесь всю массу непосредственных производителей, собственников гумна, лошадей, пашни, всякого движимого «именья». Равным образом ответ Мономаха формулирован столь же обще и без всякого намека на вычитываемые теперь исследователями в чужих душах мотивы. Благодарное, для бьющей в глаза тенденции летописца, остранение князя в плане бескорыстия, а его оппонентов — в плане узких личных интересов не оставило в рассказе и следа.

По-видимому, к описанной трактовке пролога и его смердов поощряло Б. Д. Грекова то наблюдение, что «вопрос о наборе смердых коней разрешается не княжеской властью, а зависит от самих дружинников». Это наблюдение переводит нас уже

к варианту 1103 г., ибо вариант 1111 г. не рисует дело так, что поход грозил лишь конской, а не людской мобилизацией.⁷⁷ Значение этого наблюдения для Б. Д. Грекова, в нашей связи, заключается в том, что, значит, и смерды здесь феодально-зависимые от этих дружинников. Однако мы думаем, что наблюдение, так сформулированное, сужает предмет рассказа и не имеет в нем твердых оснований. Сужает — потому, что князья собрались (вариант 1103 г.) «думати» с дружиной не по вопросу о конской мобилизации и в селах-феодах (вариант 1103 г.) и не по вопросу о мобилизации лошадей и рабочей силы этих сел (вариант 1111 г.), а по общегосударственному вопросу крупнейшего значения — о рискованном военно-политическом предприятии, далеко от половецкого походе, сулившем, в случае удачи, большую добычу всем его участникам и гарантировавшем спокойный летний хозяйственный сезон.

Подобный вопрос князья в XII в. политически не были в состоянии решать без согласия своих феодалов *in pleno*, ибо это крупное предприятие не могло быть проведено «в мале дружине», изгоном с одними охотниками, а в случае неудачи грозило политическим бедствием в первую очередь всей без разбора правящей феодальной группе — именно ответным нападением половцев на Киевщину. Представим себе на минуту, что поход этот мог бы быть проведен без мобилизации смердых лошадей в боярских феодах (вариант 1103 г.): и в этом случае без согласия дружины поход не состоялся бы, он был бы просто и физически невозможен.

В социально-политическом строе отношений XII в. крепко еще сидела известная нам в интернациональном масштабе на аналогичных стадиях развития феодальных полугосударств обычно-правовая традиция «думы» с дружиной — совещаний, где дело решалось в форме прений с обеих сторон, а не в форме немотивированных голосований одной стороны или властных безапелляционных волеизъявлений другой, княжеской, стороны.⁷⁸ Так называемое «право», равносильное обязанности, принимать участие в решении политических вопросов

⁷⁷ Вопрос о конской силе в военном строе XII в. выдвинут был нами в свое время именно на основании варианта 1103 г. (см.: Б. А. Романов. Смердый конь и смерд. Известия ОРЯС, т. XIII, кн. 3).

⁷⁸ Б. Д. Греков (ук. соч., стр. 93) пишет: «Вопрос о наборе смердых коней разрешается не княжеской властью, а зависит от самих дружинников». Но, насколько понимаем, «вопрос» может только решаться, а не «зависеть» (когда в устной речи сокращают: «вопрос зависит от ...» — это значит: «решение вопроса зависит от ...»). Следовательно, автор полагает, что вопрос о наборе «разрешается» «самими» дружинниками. Это неверно: он, как и вопрос о походе, разрешается не «самим» князем и не «самими» дружинниками, а совещанием князя и его дружины.

вытекало здесь из общей военно-политической структуры феодального государства, а не из конкретной владельческой, хозяйственной «заинтересованности» дружинников в смердьях лошадей. Поэтому наличие и в нашем случае «думы» с дружиной вовсе не уполномочивает историка сводить дело к «заинтересованности» дружинников и в «смердье пашне», находившейся-де в их «феодално-освоенных селах». И это тем более, что вариант 1103 г., пользуясь термином «село», говорит о «селе» не дружинника, а самого смерда.

С этим последним обстоятельством не посчитался Б. Д. Греков, ибо о селе он речи не ведет. Но с ним надлежало прежде всего посчитаться Н. Н. Воронину и, не считая поконченным вопрос о Долобском эпизоде на анализе варианта 1111 г. у Б. Д. Грекова, дать свой анализ варианта 1103 г. В этом варианте мы имеем то самое «село», которое наш автор раз уже упустил из виду в Русской Правде, то самое «село», каких «множество» взяли половцы «за Киевом» в 1171 г.⁷⁹ «с людьми и скоты и кони», а затем русские князья отняли у половцев этот «полон» («400 чади») и «пустили» этих людей «восвоиси».

Это все сигналы, что в языке XII в. термин «село» еще не специфицировался так, как в языке приказных документов XVI в. на северо-востоке. И наряду с «селами» княжими, боярскими и церковными на «Украине» в эпоху раннего феодализма мы находим и смердья села, терминологически конкурирующие в Русской Правде с архаическим термином «вервь». Не обратив на это внимания, Н. Н. Воронин и оказался в неловкой необходимости заключить свою главу об «украинных» селах, произведя краткосрочный терминологический заем на Новгородском Севере: «первый период борьбы феодалов ... вежами которого являлись разрушенные или освоенные ... старые города и новые укрепленные пункты ... имел своим продолжением... внедрение феодала в среду подвластных земледельческих поселений. Наряду с погостом выступило село» (стр. 45; разрядка наша, — Б. Р.). В том-то и неловкость, что погоста, как сам пытался показать в своем месте автор, не было на юге — ни в натуре (что, впрочем, для территориальной общины мы оспариваем), ни в языке. Погост тут взят напрокат автором совсем некстати. И пришлось бы здесь сказать нашему автору так: «Наряду с селом выступило село».

Итак, если стоять на почве данных письменных источников, приходится сказать, что типические картины южного села

⁷⁹ Лавр., стр. 344, 345.

феодала изображают его нам в первую очередь с челядью.⁸⁰ Однако процесс разложения территориальной общины мелкого производителя смерда зашел к XII в. настолько далеко, что по Русской Правде можно реконструировать и феодальные села с закупам, как явление злободневное и массовое. Эра же разрушения территориальной общины путем ее пожалования в разорванном или целостном виде была еще впереди: источники, в частности Правда, предостерегают от увлечения разновидностью села смерда-общинника, «захваченного» феодалами (полупризнание этого, кажется, и нашло свое выражение у Н. Н. Воронина на стр. 44 в том, что здесь он говорит о попадании села в состав уже не вообще феодального, а «княжеского» хозяйства). И наряду с феодальным селом — резиденцией и селом — административно-хозяйственным центром «домена» надо поставить на Киевщине и села свободных смердов-общинников.

В заключение несколько справок к вопросу о «жите». Это — не недвижимость и тем более не поселение, а термин, относящийся к движимому имуществу. Так же точно и «жизнь» — это не «именья, села», как думает автор (стр. 43). Обращение князей к уграм: «то не стоите на нашей земли, а жизни нашей, ни сел наших не губите»;⁸¹ Изяслав про черниговских князей: «се есмы села их пожгли вся и жизнь их всю ... а поидем к Любчю, иде же их есть вся жизнь»;⁸² Изяслав князьям: «а волости Святослави и Игореве дал вам есмь, яз же с вама и Святослава прогнал, а волость вам есмь изыскал и дал Новгород и Путивль, а жизнь есмы его взяли, а именье его разделили на части»;⁸³ — о чем перед тем Изяслав договаривался с теми же князьями: «что же будет Игореве в той волости, челядь ли, товар ли, то мое, а что будет Святославе челяди и товара, то разделим на части»;⁸⁴ «пославше же по селом, пожгоша жита и дворы»;⁸⁵ «а житие их поимаша, а села испродаша и челядь»;⁸⁶ Максим митрополит «сбежа из Киева ... иде в Суждальскую землю и со всем своим житьем»;⁸⁷ ехать в зажитье — ехать раздобывать провиант.⁸⁸ Ср. новгородское

⁸⁰ Патерик, стр. 17, 84; Ипат., стлб. 333, 334, 492, 493.

⁸¹ Ипат., стлб. 388.

⁸² Там же, стлб. 361.

⁸³ Там же, стлб. 347.

⁸⁴ Там же, стлб. 337.

⁸⁵ Там же, стлб. 332.

⁸⁶ Новг. V, стр. 181.

⁸⁷ Лавр., стр. 461.

⁸⁸ Ипат., стлб. 501; Лавр., стр. 458; Новг. V, стр. 186; Ипат., стлб. 934.

«житьи люди», московское «по животом и по промыслом», «животишка наши», позднее «пожитки», «поживиться», «зажиточный» и т. п.

Село и «старое боярство» на Суздальщине

Переходя к главе VI, к «селу и свободе» на северо-востоке, автор ставит своей задачей прежде всего «осветить вопрос о социальной природе» «старого», докняжеского, боярства и отношения его к непосредственным производителям. Этот строй отношений представляется Н. Н. Воронину «первым этапом феодализации, еще отягченным сильными пережитками рабства и даннических отношений» (стр. 51). Его и застают здесь первые князья Ростово-Суздальской земли «сложившимся задолго до водворения здесь постоянной княжеской власти» (стр. 45). До половины XII в. «нерегулярные дани», собираемые здесь южными князьями, «не затрагивали глубоко» местного общественного строя. Насколько можно уловить из несколько разбросанного изложения автора, «в дальнейшем, с развитием феодальных отношений, особенно ускоренным в связи с появлением в Суздальщине киевской княжеской власти, положение резко изменилось» и «старое боярство... вынуждалось к перестройке своего хозяйства» (стр. 50).

Для характеристики этого старого боярства и «первого этапа феодализации» (до половины XII в.) автор выдвигает довольно рискованное соображение, что оно (боярство) «совершенно не участвует в культовом строительстве, необходимом спутнике роста подлинного феодального процесса», ибо оно «не нуждалось в подпорках церкви», и что-де культовое строительство «связано исключительно с княжескими кругами и развертывается только в XII в.». Рискованное — потому, что Н. Н. Воронин становится здесь легкой жертвой искушения от отсутствия известий (у княжеского историографа!) делать заключение об отсутствии явлений. Так, например, к «первым церковным организациям» автор причисляет каменную церковь Богородицы во Владимире,⁸⁹ которую заложил Андрей Боголюбский. Но Владимир — княжеский город. И, кроме того, мы не знаем, не стала ли каменная церковь на месте старой деревянной.⁹⁰ Зато мы знаем, что в Ростове, старом, докняжеском городе, в 1160 г. пожаром были уничтожены «церкви все», в том числе и соборная «дивная и великая».⁹¹ Когда и кем были

⁸⁹ Лавр., стр. 330 (1158 г.).

⁹⁰ Ср.: там же, стр. 328 (1155 г.).

⁹¹ Там же, стр. 333.

построены эти деревянные церкви в Ростове? Мы думаем, кроме того, что автор преувеличивает, когда говорит о режиме «нерегулярных даней» на Суздальщине до половины XII в. Даже тот летописный отрывок о событиях XI в. (Лавр., 1096 г.), который автор, по обыкновению своему, берет в изолированном виде, дает иную картину, а взятый в связи с предшествующим и последующим — и вовсе иную. «Экспедиция» князя Олега Черниговского, по этому отрывку, захватившая Ростов, Белоозеро, Суздаль и Переяславль, с пленением («изоима»), а не ликвидацией, как полагает Н. Н. Воронин, «правящей группировки», и кончившаяся временным подчинением ему этих городов, — повела к «посажению посадников по городом», а не только к тому, что Олег «дани поча брати». Посадники по городам — это не заезжие княжис данщики, это регулярно действующая организация военного и финансового владения над землей. Если же взять рассказ 1096 г. в целом, то увидим, что обстановка в нем весьма далека от «первичного закрепления зависимости Залесья от киевского центра», хоть тут и впрямь была «к р о в а в а я б о р ь б а», — положения автора, ради которых и приведен у него этот отрывок.

В момент рассказа Залесье достаточно уже «закреплено» за Мономахом, и помимо перечисленных 4 городов в состав северовосточных владений Мономаха введен Муром, где сидит Мономахич Изяслав, а наличие Мономахича Мстислава в Новгороде создавало на севере некоторую политическую систему, под которой была и сложная экономическая база. Олег в этот момент был только что выбит киево-переяславской парой кузенов (Мономахом и Святополком) из своей Черниговской вотчины и, вместо того чтобы явиться в Киев, где ему были предложены переговоры, предпринял диверсию на Муром, — и началась междукняжеская, феодальная война. При этом Изяслав, сидя в Муроме, по вестям о намерениях Олега, имел легкую возможность вызвать «воев» из Суздаля, Ростова и Белоозера, которые и собрались к нему во «множестве». Убийство Изяслава в бою и бегство его воев (частью в город Муром) повели к сдаче Мурома Олегу, пленению укрывшихся там ростовских, суздальских и белозерских дружинников Изяслава и затем к сдаче беззащитных Суздаля и Ростова, после чего и были Олегом посажены «посадники по городом», а сам Олег водворился в Суздале, где были произведены им аресты и конфискации среди верной Мономаху верхушки. Спасать положение мономаховой федерации выступил теперь из Новгорода Мстислав, после того, как Олег отказался от всяких переговоров и стал готовиться к походу на Новгород: без Новгорода, по-видимому, прочно удержать Ростово-Суздальский район в своих руках

было политически и экономически невозможно, а нужда заставила Олега тотчас же разослать по стране своих данщиков для сбора дани. Последняя операция не была еще закончена, как Мстислав с новгородцами появился на Волге недалеко от Ростова, и Олегу пришлось поджечь Суздаль и отступить на Муром. В открывшихся переговорах Мстислав требовал освобождения прежде всего из плена «дружины», а когда дело дошло вновь до боя, с Мстиславом оказались уже не только новгородцы, но и ростовцы и белозерцы. Это были не те, что оставались еще в плену. Только выгнав Олега из Мурома, Мстислав там «поял» и «люди своя, ростовци и суждальци».

Мы восстановили эти детали летописного рассказа 1096 г., чтобы показать, насколько автор упростил картину общественных и политических отношений на Суздальщине еще XI в. Княжая власть явилась сюда вовсе не в лице случайного Олега. Она опиралась уже, в лице мономашичей, на местных феодалов, выступающих дружинами по первому ее зову ей на помощь. Насколько крепки были ее корни, какие связи она имела в местных боярских, командующих кругах, показывают действия Олега в Суздальском центре: аресты и конфискации «именья» при установлении своей власти в городе, а при вынужденном отъезде — сожжение этого «подлинно феодального» и церковного центра, должно быть, не так уже пассивно встретившего нового князя, приход которого со своей дружиной грозил переворотом для господствующего класса этого большого феодального государства.⁹²

Есть любопытная черта в нашей летописной повести о суздальской феодальной войне 1096 г., странным образом совсем не замеченная Н. Н. Ворониным. Мстислав, заняв Суздаль и приступив к переговорам с Олегом, поддался было его «лести» и «роспусти дружину по селом»; когда же обнаружилось, что Олег только хотел усыпить бдительность врага (не поставившего даже «сторожов») и в один прекрасный день «без вести» очутился вблизи «на Клязме», распущенная дружина собралась к Суздалю в течение каких-нибудь двух дней («в той день и в другой»).

Мы знаем, что тут у него были не только ростовцы, для которых еще можно себе представить разъезд по их собственным «селом». Но для новгородцев и белозерцев — что это было: «ставились» ли они постоем в селах «суздальских смердов», свободных общинников, или посланы были на доволь-

⁹² В Суздале при пожаре, после поджога его Олегом, уцелели «двор» Печерского монастыря и церковь, которую построил киевский митрополит Ефрем, давший ей на Суздальщине, и «села» (см.: Лавр., стр. 230).

ствии в освоенные или заново воздвигнутые княжеские села плодородного суздальского Ополя, в стиле Игорева «сельца» на Черниговщине, или, наконец, въехали непрошенными гостями в села сидевших в муромском плену суздальских «воев» — случай, предусмотренный Поучением Мономаха в словах о неразрешении в «пути по своим землям» «пакости деяти отроком, ни своим, ни чюжим ни в селех ни в житех, да не клясти вас начнут?»

Если бы автор не проглядел северо-восточного «села» в рассказе 1096 г. и задался бы этим вопросом, ему нечем было бы на него ответить, как только «красными селами» боярина Кучки — единственное документальное упоминание о сельском поселении на северо-востоке, каким располагает автор в главе VI, специально посвященной этому предмету (стр. 52). Вырванные же им строки этого рассказа о захвате Олегом городов и взимании дани понадобились ему для утверждения совершенно нехарактерного ни для северо-востока, ни для какой-либо вообще эпохи положения о «борьбе за города как ключ к овладению землей» и ради диверсии в сторону известий о позднейших «грабительских экспедициях феодалов в отдаленные земли соседних племен», которые-де «ставят на место идиллических картин колонизации как мирного „трудового захвата“ крестьянскими дворами „пустой земли“ колонизацию огнем и мечом, закрепляемую разгромом „городков“, вырастающих из „прошлой истории“, и новыми городами завоевателей» (стр. 46; разрядка наша, — Б. Р.).

Но эта диверсия в поисках аналогии оказывается бесполезной, ибо именно этого-то и не дает рассказ 1096 г.: старые, «выросшие из прошлой истории» города Ростов и Суздаль оставались нетронутыми при первом появлении князей на северо-востоке, не предполагались к уничтожению и Олегом, пока он не утратил надежд на суздальские дани, и продолжали существовать и дальше. И не стоило вообще в данной связи собирать материал против мирной колонизации (не только мордовских земель, но и Камы и Вятки), чтобы высказать мысль, что «укрепленные центры являются на этой стадии борьбы (разрядка наша, — Б. Р.) условием подчинения ... населения ... даням», ибо захват укрепленных центров — довольно универсальное стратегическое правило не только на этой стадии борьбы. Но что «погостская система» (о которой речь была выше) «является совершенно закономерной стороной этой картины» (т. е. картины захвата городов и взимания дани в стиле Олега?), не явствует ни из предшествующего, ни из последующего изложения автора. Что в нашей связи важнее (в этом утверждении имеем косвенный ответ автора): что княжеская

дружина в 1096 г. не ставилась на постой в поселениях свободных крестьян-данников (раз она ставилась не в «погостах», а в «селах») — и мы опять остаемся при кучковых селах, т. е. будем иметь здесь не постой как феодальную повинность свободных смердов, а пребывание в гостях одного воя в сельской резиденции в отсутствие его феодального собрата? Это ли хотел сказать Н. Н. Воронин?

По этим двум линиям и идет у автора упрощение картины общественного строя Северо-Восточной Руси до половины XII в.: с одной стороны, князья и их дружины не начали еще внедряться в это «море сельских поселян» со своими «селами»; с другой стороны, проблематические здесь «погостские общины» не подвергались еще натиску и эксплуатации со стороны «старобоярского» землевладения, целиком стоявшего на холопском рабском труде. Эта картина получает у автора идиллическое отображение и в «системе поселения боярства в общей связи (?) с поселениями крестьянской массы»: боярская усадьба — неукрепленный двор, вокруг «красных сел» (Кучки) нет «каменной ограды и острога деревянного»; за усадьбой — «села боярские» с рабами, чем они отличались от «позднейших» сел княжеских и княжих слуг; «дальше» (?) «вокруг этого гнезда боярского хозяйства» — красные слободы (как мы уже знаем, земледельческие «поселки с рабами»); «в дальних углах» (т. е. еще «дальше»?) «еще» держатся «погосты как общинные комплексы», «обложенные данью», и соответственно «полудье» держится «еще в конце XII в.»; «среди этого моря сельских поселений» «теряются» «редкие города», «основные» центры торговых и ростовщических «интересов» и резиденции боярства (стр. 52). Пытаясь разобраться в этой схематической картине и как-нибудь конкретно ее локализовать, испытываешь несколько неодолимых затруднений.

Ее боярская часть взята Н. Н. Ворониным с территории, которую принято считать московской, как бы равнодушно сам автор ни относился к тому, числить ли владения Кучки на месте будущей Москвы или где-нибудь в ином месте. Эти владения старого боярина были расположены, значит, как раз «в дальнем углу», считать ли этот угол крайней периферией Черниговщины, Смоленщины, Рязанщины или Суздальщины — безразлично, т. е. там, где автор отводит место «погостским комплексам». Предание о Кучке, во-вторых, не дает никаких указаний на городские интересы боярина, рисует его, наоборот, идиллическим обитателем «красных сел», а не города, и угроза разгрома, как и аппетиты князя, направлены здесь в предании именно на «села» (не на слободы), на резиденцию боярина, где и предстоит ему принять «войну» с князем. В-третьих, «даль-

ние углы» для погостов автор счел в свое время типичными для 4 конкретно уездов, в том числе и Владимирского, причем объяснил эту периферичность погостов «наступлением» (с перекройкой и захватом общинных земель) «княжеских и боярских владений» — из города по радиусам во все стороны; теперь у автора погосты оказываются в дальних углах уже в докняжеские времена, да и Владимир выступает на политическую арену только уже при князьях XII в.: не оказывается ли здесь позднейший процесс причиной более ранних явлений? В-четвертых, остается непонятной разница между боярскими селами и слободами, одинаково связанными с земледелием и рабской рабочей силой, и остается необъяснимым четкое их распределение в пространстве: одни жмутся к боярскому двору, другие окружают на некотором расстоянии все «гнездо боярского хозяйства». Наконец, в-пятых, что же все-таки характерно для боярского поселения XI—XII вв. на северо-востоке: «общая связь» с поселениями «крестьянской» массы или районированность соответственной земли (Ростовской, Суздальской и т. д.) с боярским землевладельческим массивом в центре, поближе к городу, и с крестьянскими поселениями на периферии?

Как видим, в описанной картине одни ее куски оказались непригнанными к другим и частью даже к предшествующим построениям автора. А картина сама выглядит безжизненной схемой, построенной вне конкретной обстановки, вне экономических и географических условий. Ростово-Суздальская «окраина» до половины XII в. живет самостоятельной жизнью на более ранней стадии развития, чем южная «Украина», и «подлинный» феодализм начинается там с приходом Юриев и Андреев. Какова эта «самостоятельная жизнь», каковы ее движущие силы — автор не пытается осветить этого даже гипотетически. «Подлинный» феодализм приходит извне, и этим «внешним фактором», который в иных случаях не очень-то жалует наш автор, «появлением» князей (точно раньше их там не бывало), создается этап и в истории сельского поселения, изменяется и «социальная природа» боярства. Автор связывает в другом месте «подлинный» феодализм с церковным строительством. И поскольку у читателя нет уверенности, что до «появления» князей на Суздальщине не было и церквей, «появление» князей раздвигает дату «появления» на Суздальщине «подлинного» феодализма.

Попытка найти в источниках черты для характеристики «социальной природы» боярства в ее эволюции тоже не удалась автору. Ему пришлось отклонить от себя решение «вопроса о происхождении старого боярства Суздальщины», но все же склониться к гипотезе, что «сложилось оно» «на местной основе

разложения патриархально-родового строя», следов которого в материале указать автор не в состоянии. А поиски дальнейших промежуточных «посредствующих звеньев» ограничиваются у него указанием на «социальных предков» боярства в «погостской нарочитой чади», на «выделение из общины феодализирующегося слоя» как на «один из путей местного процесса феодализации».

Однако тайна этого местного процесса не раскрывается Н. Н. Ворониным, да и не может быть раскрыта в плане абсолютной отрешенности от какого-либо представления об экономических условиях, в которых протекал этот процесс. Два летописных текста, привлекаемые здесь автором (Лавр., 1024 и 1071 г.), толкуются им в смысле указания на «расслоение» «погостской общины» (стр. 47); но о «погостской общине» эти тексты не говорят, давая указание только на наличие в XI в. имущественного неравенства — указание, мало продвигающее вопрос. Автор пытается «волну восстаний сельских низов» в 1024 и 1071 г. связать с вторжением в их жизнь княжой дани: но оба восстания в летописном тексте вызваны голодом, охватившим в первом случае Суздальскую, во втором случае Ростовскую область, и в обоих случаях (а не в одном, как полагает автор) направлены против «врага внутреннего», «старой чади» и «лучших жен», — и мотив княжой дани как нового фактора расслоения отсутствует в них вовсе.

В первом случае (1024 г.) «старая чадь» избивается в городе («Суждали»), там же Ярослав производит жестокую экзекуцию над агитаторами-волхвами, а организация закупки хлеба в Болгарах ликвидирует голодный бунт по типу подобных же новгородских эпизодов. Это известие о «мятеже великом по всей той стране» настолько лаконично, что у нас нет оснований считать «ясным», как полагает автор, что «старая чадь» — «это какой-то слой сельского населения, живущий рядом со смердами». Аналогию для «старой чади» скорее можно искать в «старцах» и «старейшинах» южных городов, а во всех этих названиях позволительно видеть пережиток патриархально-родового строя. Властное же положение этой верхушки в источниках обычно связано именно с городами.

Во втором случае мы сталкиваемся с очень сложного состава преданием о борьбе двух властвующих группировок на Белоозерско-Ярославском отрезке водного торгового пути. Движение начали два волхва из ярославских смердов князя Святослава Ярославича. О том, чтобы оно затронуло интересующий нас Ростово-Суздальский район, следов в предании нет. Направились волхвы, агитируя, по-видимому, негородское население, по Волге и затем по Шексне вверх к Белоозерскому городскому

центру. Характер этой агитации весьма архаичен и полон воспоминаний о матриархальном строе (женщина, распорядительница хозяйственных благ, — объект этой агитации). Экспроприация хозяйственных благ, сопровождаемая обрядовым убийством «жен», не ограничивается хлебными запасами, а направлена была и на главные предметы дани и торгового оборота: меха, мед и рыбу, — и это дает повод думать, что здесь налицо попытка реставрации былого положения языческих представителей власти и культа (волхвов), вытесненных со своих позиций княжеской властью, перенявшей, в частности, у них сбор этой дани. По пунктам сбора дани и идут волхвы, там и разыгрываются сцены обряда и экспроприации в первую очередь «лучших» жен, а затем, с развитием движения, и иных: таково значение этих пошехонских «погостов» нашего текста.

Но конечная цель движения волхвов и примыкающих к ним наиболее активных элементов голодной массы — старый, докняжеский и доваряжский центр этой дани, Белоозеро, где и происходит решительное столкновение исторических конкурентов, княжого данщика Яна и прежних данщиков-волхвов. Белоозерцы оказываются при этом между двух огней, и не приходится сомневаться, что предупреждают Яна о приближении волхвов к городу «старейшины», «старая чадь» городского, которой в первую очередь и грозит расплатиться в случае какой-либо катастрофы с княжеским данщиком. Когда же первое вооруженное столкновение Яневой дружины с многочисленными, но плохо вооруженными спутниками волхвов решилось в пользу княжой стороны, Ян угрозой перманентного постоя направил для «изымания» волхвов ту местную вооруженную силу, которую мы видели уже легко мобилизуемой в княжеские полки в конце того же XI в.

Каково здесь происхождение «лучших жен»? Можно ли здесь усматривать результат «расслоения» «погостской общины», усиленного княжескими даяниями?

Если представлять себе «данническую» сторону картины, сохраненной преданием, так, как указано выше, то накопление продуктов, перечисленных в тексте, придется ставить в связь с возможностью их сбыта, а не с уплатой дани, ведущей начало не со времен рюриковичей. А тогда вопрос о выделении этого экономически господствующего элемента «лучших» нельзя так просто решать в пользу территориальной («погостской») общины в ущерб патриархально-родовой. Автор, усматривая в этой «местной основе» корень, от которого пошло старое ростово-суздальское боярство, напрасно, однако, отказывается от гипотезы новгородской колонизации здесь еще дорюрикова

времени. В этом смысле термин «погост», сохраненный преданием в значении центра, куда шла дань и где могли скапливаться запасы товара в пути, служит признаком, скорее подтверждающим ведущее значение новгородских элементов в руководстве тем торговым движением, которое отложилось в интересующем нас районе находками арабских монет еще VIII в., а затем оставило и летописные следы в последующее время. Казалось бы, признание вслед за Н. Я. Марром сплетения процесса классообразования в «среднеокском и верхневолжском бассейнах» со «столкновениями, борьбой и гибелью племен» не стояло бы в противоречии с признанием роли в этом процессе и за новгородскими элементами.

«Социальное лицо» и «методы» господства старого боярства автор рисует на основании источников, имеющих в виду, однако, как раз позднейшее княжеское боярство. В частности, не датируемая автором характеристика бояр в Лаврентьевской летописи (стр. 415, 1212 г.) как: «[1] обидящих меньших и [2] работающих сироты и [3] насилье творящих», адресованная летописцем к боярам князя Всеволода, выдвигается Н. Н. Ворониным как специфически старобоярская и толкуется совершенно искусственно и, скажем прямо, вымученно.

Подчеркнутую нами триаду греховных деяний княжеских бояр Н. Н. Воронин считает литературным отражением триады категорий рабов, составлявших всю рабочую силу старобоярского хозяйства. Каждая из этих трех категорий имеет будто бы свое происхождение: первая, «меньшие», — это «разоряющиеся общинники», попавшие «в состав боярской челяди», вторая, «сироты», — это «смерды», то же самое, что «изгой», т. е. вышедшие «из общинно-родовых уз», «рода-племени», чужого (почему только чужого?) данному боярину, и третья — рабы, захваченные «путем военного грабежа» «соседних» «погостских общин» (стр. 49). Но ведь «обида» — не порабощение, не закрепощение и даже не вообще какое бы то ни было включение обиженного в состав хозяйства обижавшего. «Сирота» на языке церковного поучения — вообще человек, не имеющий родни и заступников в лице единственно признаваемых церковью членов «малой» семьи, и люди, порвавшие с «родовой общиной», но засвидетельствовавшие свою преданность церкви принятием обряда таинства брака, консолидировавшего именно малую семью, — для церкви совсем не сироты. А «творить насилье» — понятие слишком универсальное, чтобы притягивать к нему одну только «погостскую общину»; точно бояре не насильничали и в городах. Поэтому приведенное социологическое анатомирование церковного оборота речи в стиле символического толкования церковного троеперстия, какое производит Н. Н. Воро-

нин, представляется нам неубедительным и ненужным для его основного тезиса: что боярское крупное землевладение было построено на эксплуатации «раба—холопа—челяди». Более того: как в представлении автора уживается с указываемыми им источниками и методами пополнения рабочей силы этого землевладения мысль, что оно «не захватывало сколько-нибудь чувствительно и резко основной массы окружающего сельского населения», — это остается предметом величайшего недоумения, которое присоединяется, в качестве шестого, к указанным выше пяти (стр. 93—95) и только усугубляется: 1) трактовкой восстаний «смердов» XI в. как направленных против «внутреннего врага», «старой чади», «предка» этого старого боярства и 2) состоявшимся уже оттеснением свободных смердов в «дальние углы».

Село и «владимирская революция 1175 г.»

Не покидает читателя это недоумение и с переходом к следующей, VII главе о «Князе и старом боярстве Суздальщины» (стр. 52—58). Здесь уже «только редкие экземпляры» этой «старой чади», оказывается, «прокладывали путь к боярству», и в борьбе с последним Юрий и Андрей с их дружинами опираются именно на «старую чадь» (и частью на татищевскую иноплеменную верхушку «вновь построенных городов», болгар, мордву, угров): «основная масса» этой чади попадала, как Даниил Заточник, под «холопское ярмо» старого боярства. Появление «княжеской группировки» на северо-востоке в половине XII в. впервые здесь открывают двойную эру: «наступления на общинные земли» и «наступления на старую боярскую верхушку». Эти две «линии внутренней политики» и приводят дело к «владимирской революции 1175 г.».

Наступление на «общинные земли» должно было придать крестьянский характер событиям 1175 г.: вся конструкция автора держится на весу, опираясь острием именно в эту точку. Однако материал, собранный Н. Н. Ворониным для обоснования этой конструкции, не подтверждает ее. Так, текст Даниила Заточника: «не имей себе двора близ царя двора и не держи села близ князя села»⁹³ — имеет в виду частного собственника села, а не смерда-общинника, до которого нет дела автору этого произведения; боярский холоп из «старой чади», как характеризует его Н. Н. Воронин, да и смерд-общинник — не кочевник

⁹³ Цитируется по: П. Миндалев. Моление Даниила Заточника. Казань, 1914, стр. 107.

и не покупатель земли, чтобы мог использовать подобного рода совет.

Таковы и предания, неточно приводимые автором, о церкви Спаса на Купалищах на р. Клязьме. Первое «предание»⁹⁴ не говорит о «пожаловании» зверолову Елифанке князем Андреем «деревни»: деревня Елифановка, принадлежавшая княжескому зверолову Елифанке, уже существовала до Андрея, и в ней он лишь приказал поставить церковь, каковую и выстроил сын Елифанки, Васька, за что Андрей пожаловал Ваську «пустошами, лесами и лугами» по соседству с деревней отца (т. е. пожалованы были «пустоши», а не общинные заселенные земли); из предания не видно, чтобы «церковь Спаса на Купалищах», поставленная Андреем на правом берегу Клязьмы, была поставлена «в селении» (впоследствии это одинокий погост), а из рассказа Тверской летописи⁹⁵ видно, что «Спас на Купалищах» был любимым местом «прохлаждения» для Андрея во время охотничьих «утех» по Клязьме (еще один пример необщинного происхождения погоста).

Таковы же и значительно позднейшие наблюдения (относящиеся к XIV—XV вв.), что «княжеские владения и села» намечаются (духовными и договорными грамотами) в «небольшом радиусе вокруг старых и новых городов» («не свыше 20 верст»), — что скорее говорило бы о замедленном, на целые два века, и ленивом наступлении князей на общинные земли (но что и не соответствует действительности).

Такова же и не идущая совсем к делу иллюстрация «поддержки», оказываемой друг другу «феодалами одной социальной породы», на примере Юрия Долгорукого и Святослава Ольговича, — точно автор не знает десятки примеров феодальных же войн между отдельными представителями этой «породы»! Наконец, совершенно произвольно у Н. Н. Воронина и толкование данных источников о самом событии 1175 г.

Автор предпочитает более полную версию Ипатьевской летописи (это его право) и рисует события 1175 г. как «городскую революцию, поддержанную сельской периферией» (стр. 55). Эта поддержка выразилась в том, что «грабители и из сел приходяче грабяху», т. е. «поднялось население погостов, становившихся княжими селами», «недавние смерды-общинники». Н. Н. Воронин как будто переносит нас на шесть столетий вперед к рационалистическому губернскому законодательству Екатерины: на глазах историка на Суздаль-

⁹⁴ Цитируется по: А. В. Экземплярский. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г., т. II. СПб., 1891, стр. 197, прим. 567.

⁹⁵ ПСРЛ, т. XV, стр. 251.

шине XII в. все погосты, взятые «на государя», поголовно переименовываются в села. Для такого четкого определения у автора нет иных оснований, кроме презумпций о специфическом наступлении княжеского гнета на свободных смердов, презумпции, которую именно и надо еще обосновать.

Между тем движение, поднявшееся по вестям об убийстве князя его же собственными слугами и ближними боярами, было пестро и сложно, как всякое неорганизованное, стихийное движение. В Боголюбове, по Лаврентьевскому варианту, в разгроме княжеского дворца и имущества приняли участие не только горожане, но и «дворяне», т. е. вся челядь княжеской резиденции, богатой серебром и золотом, гардеробом («порты») и «паволоками» и всяким «именьем». Той же участи подвергся и княжой двор во Владимире, по Ипатьевскому варианту. Движение поставило под удар не только княжьи резиденции, но и «домы» посадников, тиунов, децких и мечников, т. е. агентов княжеской администрации, по всей «волости» Андрея. Автор здесь едва ли правильно видит эти «домы» не в городах, а в «селах», вернее — на глазок относя «домы» посадников и тиунов к городам, а «домы» децких и мечников к селу (стр. 56). Фраза повести: «домы пограбиша, а самех избиша» имеет в виду не тот случай, когда кто-нибудь из этих агентов находился вне «дома» в пути, а избиение и грабеж одновременно по месту постоянного жительства всех этих агентов — в городах. Да и фраза «из сел приходяче, грабяху» означает «приход» из сел именно в города, а не из сел в село же. Для погрома загородных усадеб в языке летописи имелось точное и отстоявшееся выражение, которое в нашем тексте, однако, в ход не пошло: «и села их пограбиша». Этой черточки рассказ нам не дает. В данном случае из сел приходили, вероятно, с некоторым опозданием, не к началу движения, и примыкали к уже начавшемуся грабежу и не «избивали», а только грабили. Избиение же производилось в городах горожанами же и было сигналом к грабежу городских «домов».

Задаваясь вопросом, кто же «приходил» из сел, нельзя забывать прежде всего обитателей сел боярских с их челядью всяких рангов и положений типа не холопа-страдника, а дворового человека «в червленых сапогах и в багрянице». Особенно среди этой придворной феодальной челяди, естественно, могли найтись охотники последовать по проторенной их господами дорожке. Нет, разумеется, оснований исключать из числа участников этого движения и всяческое население княжеских сел. Но нет оснований исключать отсюда и свободных смердов-общинников, если не отселять их, вслед за Н. Н. Ворониным, очень уже далеко от городов (такова, например, еще в XVI в. черная

волость Плещо на Уводи)⁹⁶ и если считать, вопреки автору, что они жили тоже в селах, а не в погостах. И это потому, что концепция движения, какую дает летописец, не сводит его, как считает Н. Н. Воронин, к «грабежу», а имеет в виду его политическое содержание — направленность против административного гнета.

Таким образом, материал автора о наступлении на общинные земли, открывшемся в половине XII в. с приходом князев, не говорит ничего. Как на «Украине», так и здесь княжеско-дружинное землевладение не связано специфически с расхищением общинных земель и закрепощением свободных смердов, — в отличие якобы от «старобоярских» рабских поселков. Процесс освоения населенных земель и закрепощения по земле на северо-востоке нет оснований начинать так поздно, как хочет Н. Н. Воронин, и придавать ему столь катастрофические для свободной общины формы так рано, как делает он же. В истории сельского поселения эта гипотеза автора не возымела, как увидим, и полезного рабочего значения.

Материал автора не дает указаний и на наступление ростовско-суздальских князей Юрия и Андрея на земли старого боярства, их экспроприацию как систему или хотя бы на введение принципа «нет земли без службы». Случай с «красными селами» Кучки по самому смыслу предания — случай исключительный, долженствующий объяснить возникновение уникального же, славного города Москвы, и пользоваться им как аракачевским поросенком никаких оснований у нас нет. Более или менее «массовый» характер насильственная мобилизация боярских «сел» принимает на северо-востоке в княжеских войнах и борьбе боярства отдельных городов как раз уже после смерти Андрея в последней четверти XII в. — но и это происходит в порядке захвата военно-феодальной добычи владимирской боярской группировкой, а не планового «наступления» княжой власти и «новых» для всего «старого» боярства княжих слуг на старинную боярскую вотчину. Автор здесь не обосновывает выдвигаемой им мысли о том, что «роль старого владимирского боярства была сыграна» и теперь, после побед Всеволода (за спиной которого стояли именно владимирские бояре и купеческие круги), «подчинилось ростовское» (стр. 57), и мысль эта остается пока в противоречии с данными летописи.⁹⁷

Шаткую почву имеет под собой и утверждение автора, что этот «натиск» на боярские земли находил благоприятное усло-

⁹⁶ С. Шумаков. Сотницы, грамоты и записи, вып. I. М., 1902, стр. 62.

⁹⁷ Лавр., стр. 355—366.

вие в наличности к этому времени «резких форм классового противоречия: холоп — боярин». Кроме все того же образа «гордеющего и буящего» холопа у Заточника, у автора нет измерителя обострения отношений в боярской вотчине. Но образ этот, во-первых, служит политической агитации в пользу непосредственной службы князю, а во-вторых, относится к высшей категории слуг боярского двора (в червленых сапогах и багрянице), а гордость и буйство — в этом контексте — не имеют характера протеста против своего господина, а обращены ко всему, что находится за пределами боярской вотчины: сколько бы ни кичился, ни заносился, ни произволил, ни проявлял своей гордости боярский холоп, ему (внутри этой вотчины, по отношению к своему господину) «не избыть холопья имени». ⁹⁸ Это ни в коем случае не холоп-стражник, на горбе которого сидели Даниилы Заточники.

Таким образом, и здесь мы имеем дело с гипотезой, которая, однако, не возымела полезного рабочего значения, потому что вытекающий из нее вопрос, как сказался натиск князей на это гнездо классовых противоречий, на дальнейших судьбах конфискованной боярской вотчины в части ее внутренней структуры, на самом противоречии «холоп—боярин», — этот вопрос и не выдвигается автором.

Такова же участь и гипотезы о наступлении на общинные земли. Едва ли можно согласиться с автором, что после «владимирской революции 1175 г.» налицо имеется «некоторое затормаживание наступления феодалов» на общинные земли. Единственный указываемый симптом — сбор дани Всеволодом в 1190 г. в «полюдьи» — не является симптомом желаемого автору явления. Случайное указание это только подтверждает наличность в феодальном обиходе — и после «натиска» времен Андрея — этого традиционного административного приема, касавшегося не только сельчан, но и городского населения (в полюдьи Всеволод указан совсем мимоходом в городах Ростове и Переяславле по поводу иных «событий»). Никаких данных

⁹⁸ Вот этот текст: «Княже мой господине. Се бо был есми в велице и мнозе нужи и печали и под работным ермом пострадах, все то искуси, яко зло есть. Лучше бы ми нога своя видети в лыченице в дому твоём, нежели в черлене сапозе в боярстем двори. Лучше бы ми в дерюзе служити тебе, нежели в багрянице в боярстем дворе. Не лепо у свинии в ноздрех рясы златы, тако на холопе порты дороги. Аще бо были котлу во ушню златы кольца, но дну его не избыти черности и жжения. Також и холопу: аще бо паче меры горделив был и буяв, но укору ему своего не избыти холопья имени» (П. Миндалев, ук. соч., стр. 105—106. — Ср. холопа Русской Правды, который задира и бил «свободных мужей», затем «убегал в хором», а «господин» его «не выдавал» (Русская Правда в четырех редакциях, изд. В. Сергеевича, третья редакция, ст. 87).

для утверждения, что это было новым «обращением к старым формам эксплуатации» и что оно пришло на смену недавним «новым» формам ее, у автора не приведено. Их, вероятно, нет и в природе. И мы опять имеем дело с гипотезой, по счету второй. Вытекающий из нее вопрос, когда же и при каких условиях и с какими последствиями возобновилось, после временной передышки, наступление на общинные земли, — тоже не выдвинут автором. Между тем вопросы, вытекающие из гипотезы автора, тем более существенны, что тут автор вводит сельское поселение в новый этап, отмеченный появлением феодального замка.

А этапу этому автор придает, видимо, особое значение, ибо считает нужным подвести здесь «некоторые» итоги всему предшествующему изложению. Их нам пришлось уже коснуться в начале нашего разбора. Из этого последнего ясно, что итоги эти должны были отразить отмеченные недостатки и ошибки исторического анализа и построения Н. Н. Воронина. Беда, однако, в том, что теперь в итоги попали и такие положения, которых автор и не пытался оправдать каким-либо конкретным материалом в предшествующем изложении. Такими новинками в итогах являются: 1) погост — «объединение, на основе общинного землепользования, значительного количества хозяйств-семей» — ибо об «общинном землепользовании» у автора нигде не было речи; 2) погост, из состояния «подданной» общины, становящейся в последней стадии «селом», — это не последняя стадия в эволюции общины, а редкая эвентуальность как таковая, мимоходом и отмечавшаяся автором; 3) вторая стадия в развитии села, «возникающего путем закладничества за господина вместе с землей и последующего закрепления закладника», — о закладничестве в изложении не было ни слова.

«Замок» на северо-востоке

Переходим к «замку» (глава VIII, стр. 58—65), который выдвигается автором как «новая форма господского поселения» на «новом этапе, связанном с периодом XII в.». Здесь мы имеем дело с чистыми домыслами: овладение обширными землями со стороны «княжеских слуг и княжой придворной знати» (Юрия и Андрея) и «оседание» в своих новых «селах» требовало обеспечения господского поселения на селе от возможного натиска смердов, совершенно «так же, как в борьбе с боярством и при освоении его земель, обрисованной в сказаниях о начале Москвы, рождалась необходимость в укрепленном городе-замке» (стр. 58). Как видим, разобранные выше гипотезы призваны объяснить не факты, в чем они и нашли бы

свое оправдание, а домыслы. Из них второй домысел конкретно навеян все теми же неукрепленными «красными селами» Кучки, на месте которых князь, по преданию, воздвиг «город». Но беда опять-таки в том, что город воздвигается здесь уже по ликвидации боярского владения, а не для борьбы с боярином, и выступает в ближайшее же время как опорный пограничный пункт, фигурирующий в междукняжеских войнах. Другие подбираемые автором общеизвестные факты «градостроительства» Юрия и Андрея толкуются им и как мероприятия в борьбе с боярством и как желание «отмежеваться» от прежних больших городов, но ниоткуда не видно, что это делалось и «для наступления на общинные земли». Таково же и Всеволодово градостроительство внутри старых городов Владимира, Суздаля, Переяславля, «огораживание» от «общественных низов». Во всяком случае княжеские города-замки — бесспорный и общеизвестный факт.

Но летописные известия эти о городах не уполномачивают говорить о «господском» огораживании и «на периферии» (т. е. о господской усадьбе-замке вообще), тем более что и «археологически ни одного такого объекта не вскрыто» (стр. 60). Попытка автора гипотетически сослаться на «небольшие городища, жилая площадка которых рассчитана на один крупный дом», как на подобного рода не княжеские «замки», приводит автора конкретно всего к двум указаниям А. В. Арциховского на Тушков-Можайский и Вышгород-Верейский: но и тот и другой — волостные центры, принадлежавшие Дмитрию Донскому, и выбраться из круга княжеских городов и городков в Ростово-Суздальской земле автору не удается. Главное же в том, что эти княжеские города и городки — истинное явление еще на юге, и никакого этапа в XII в. они ни отобразить, ни создать не в состоянии и на северо-востоке. Боярская же усадьба, сельское поселение светского феодала, являющееся предметом исследования, остается и на этом «новом этапе» все той же неукрепленной усадьбой типа Кучковой. «Замка» в главе о «замке» не получилось.

Что касается монастырей, действительно зачастую «получавших характер подлинного замка европейского образца», то именно они-то и нарушают схему периодизации нашего автора: перечисляя факты борьбы окрестных крестьян и частных землевладельцев с вновь строящимися монастырями, в объяснение их «укрепленности» автор избегает точно датировать их, но они явно ничего не дают как раз для XII в. и идут, не убывая, через XIV и XV вв. Да и сам автор отмечает, что они «занимают особое место». Действительно, характеризуя «господское поселение», «село» XV—XVI вв., автор уже и сам не находит

здесь «замков», а вскользь лишь упоминает, не приводя данных, о редких случаях «укрепленности» господской усадьбы в виде тына (глава IX, стр. 64).

Таким образом, если убраться нигде в источниках не видимый «господский замок», с «селом» у автора не останется никакой эволюции и никаких этапов: как и на «ранних этапах феодализма», село и теперь в XV—XVI вв. «сохраняет — по выражению автора — свое значение, центра господского хозяйства, поселения крестьян землевладельца на его земле» (стр. 66).

Деревня и село в XIV—XVI вв.

В угоду терминологическому принципу построения своего исследования Н. Н. Воронин «деревне» посвятил последнюю его главу (X, стр. 69—75). Очевидно потому, что «этот термин появлялся в источниках после погоста — свободы — села», только в XIV в. как в духовных княжеских грамотах, так и в летописи. Но этим и ограничивается дань, какую отдает автор указанному термину. И рассуждения этой главы посвящены, независимо от термина, «поселению отдельной семьи», «пашенному двору» и «деревне» на одинаковых началах, как «основной «ячейке», как «основе развития феодального поселения» (стр. 71).

Автор бросает, правда, мимоходом мысль, что позднее появление термина «деревня» «объясняется, очевидно, тем, что в этот период (XIV в.) владельческие интересы феодалов проникают до отдельного пашенного двора, до отдельной семьи вплотную» (стр. 72; разрядка наша, — Б. Р.). Но вопрос, почему именно в этот период в языке дает себя знать точно как бы хозяйственное прозрение феодала, видимо, абсолютно не затронул любознательности историка сельского поселения. Можно подумать, что, например, в XIII, XII, XI вв. русский феодал и на юге, и на северо-востоке, и на севере обнаруживал хозяйственное равнодушие к тому, сколько рабочей силы или плательщиков денежных и натуральных рент находится на счету его земельного владения или хозяйственного центра: но тогда что же было единицей его, пусть неписанной, бухгалтерии? Не татары ли научили его счету «деревень», когда (в 1384 г.) на деревню пала «дань велика» — «с деревни по полтине»?⁹⁹ Автор полагает, что «сама деревня как конкретная форма поселения» гораздо старше самого термина, что «она существовала гораздо раньше, на дописьменном этапе, в форме поселения

⁹⁹ ПСРЛ, т. XI, стр. 85.

„семьи“, ее двора и пашни на общинной земле как хозяйственное целое в системе общины» (стр. 71—72). Но прав будет тогда и читатель, полагая, что и «владельческий интерес» феодала к этому «поселению» гораздо старше этого термина и едва ли не приходится ровесником самому феодалу. А тогда отпадает и приведенное объяснение появления термина «деревня» только в XIV в. — «проникновением владельческого интереса феодала» «до отдельной семьи вплотную».

Что «вплотную» феодальный интерес фиксировался на отдельной «семье» тоже гораздо раньше, наш автор должен был бы знать так же хорошо, как то знает и не дошедшая до нас от начала XIII в. грамота трех прадедов рязанского Олега. Н. Н. Воронин и в этой главе (стр. 71) подошел к этой грамоте в крепко усвоенном им плане своих общинно-погостских интересов, и «семья» грамоты представилась ему «мельчайшей ячейкой» общины, «поселением», «будущей деревней», оставшейся не отмеченной историками потому, что-де ею «не интересовались источники, в том числе феодальные акты».

Выше мы попытались дать анализ этой грамоты именно как феодального акта и, в частности, именно счет на «семьи» возвести к технике феодальной (княжеской) хозяйственной канцелярии при исчислении натурального данного оклада с бортовых «земель», пожалованных впоследствии монастырю (см. стр. 358, примечание). Нет никаких разумных оснований считать этот счет каким-то новшеством, явившимся именно в начале XIII в. Но можно поискать и найти признаки того, что этот исконный счет был феодальным счетом далеко не архаическим и для последующего времени и не был только рязанской экзотикой. И найти их можно именно в феодальных документах. Мы имеем здесь в виду бытование термина «семья» в рязанских и тверских княжеских договорных грамотах XIV—XV вв.

Обычная стандартная формула договоров московских князей между собою: «а суженое, положеное, заемное, поручное, кабалное по исправе дати, а холопа, робу, должника, поручника, беглеца, татя, разбойника по исправе выдати», или: «а данному, положенному, холопу и робе от века суд, а татя и беглеца по исправе выдати, а заемному и поручному и всему обидному межи нас суд без перевода», или: «а суженое, даное, положеное, заемное, кабалное, поручное дати по исправе, а холопу, робе от века суд»¹⁰⁰ — в рязанских договорах заключается клаузулой

¹⁰⁰ СГГД, ч. I, стр. 88, 137, 270, а также стр. 90, 101, 104, 109, 112, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 132, 134, 142, 148, 156, 170, 187, 189, 217, 220, 222, 225, 227, 230, 236, 238, 241, 243, 246, 248, 256, 258, 262, 264, 267, 275, 278, 292, 309, 312, 316, 319.

о пошлине с беглеца. Первоначальная формулировка этой клаузулы в проекте договора великого князя рязанского Олега Ивановича с великим князем Дмитрием Ивановичем 1381 г.: «а пошлины с семьи 6 денег, с пешеходов 2 алтына, а с одного не имати», непосредственно следующая за клаузулой о выдаче холопа,¹⁰¹ в последующих рязанских договорах приняла следующий твердый вид: «а пошлина с беглеца с семьи 2 алтына, а с одинца алтын», — и в этом виде держалась в течение всего XV в.¹⁰² Это был наиболее архаический и простой счет тяглой рабочей силы в денежном выражении: 1 работник — алтын, 2 работника — 2 алтына. Эта старая «семья» едва ли не жила еще и в XIX в. во всероссийском крепостном масштабе в христианско-церковном термине помещичьего хозяйства — «венце». В аналогичных случаях в тверских княжеских договорах XIV—XV вв., где клаузула о пошлине с беглеца была также неизменной принадлежностью, встречаем иной счет. Первоначальная тверская формулировка этой клаузулы в договоре великого князя тверского Михаила Александровича с великим князем Дмитрием Ивановичем 1368 г.: «а с головы дати пошлины гривна, а с семьи четверть» — сменилась в последующих договорах такою: «а пошлины с семьи 3 алтына, а с головы алтын».¹⁰³ Вопрос о том, кто платил пошлину, и вообще весь казус, предусмотренный этим пунктом договоров, разъясняется только в тверских текстах: «а кто имеет холопа или должника, а поставит его перед волостелем, в том ему вины нет, а выведет из волости, а перед волостелем не поставит, в том ему вина. А холоп или роба почнет ся тягати с осподарем, а пошлется на правду, а не будет по холопе или по робе поруки, ино их осподарю выдати, а по должнике не будет поруки, ино его обвинити. А пошлин с семьи 3 алтына, а с головы алтын, а кои не почнет ся тягати, с того пошлины нет». Значит за разысканного и представленного перед волостелем беглеца или должника платит пошлину господин только в случае необоснованного надлежащим образом протеста беглеца. Это и мог иметь в виду рязанский игумен Арсений, не отчаявшийся через эту статью договоров провести через границу кое-кого из семей, пребывавших на бывших когда-то монастырских землях по ту сторону р. Оки. Итак, то обстоятельство, что счет холопов-беглецов на семьи и головы-одиночки проник и занял прочное место в документах, можно сказать, международноправовых, свидетельствует о его

¹⁰¹ Там же, стр. 55.

¹⁰² Там же, договоры 1402—1496 гг., стр. 67, 99, 145, 282, 286, 324, 329.

¹⁰³ Там же, стр. 49 (1368 г.) и договоры 1450—1484 гг., стр. 173, 176, 212, 296.

широком и органическом распространении в практике феодального хозяйства и общем его признании. Это не было только рязанской или тверской практикой, ибо контрагентом в этих договорах была и московская сторона, а счет холопов на семью подается и в духовных грамотах московских князей.¹⁰⁴ Но стоит отметить и любопытную местную особенность, свидетельствующую о хозяйственной скрупулезности тверского рабовладельца: в противоположность рязанскому, учитывавшему только взрослую рабочую силу семейной пары, тверской ценил «семью» втрое против одиночки, как бы учитывая и возможный «приплод» от пары своих, сказать по-римски, «говорящих орудий».

Как видим, термин «семья» — термин насквозь феодальный, термин для учета рабочей силы феодального хозяйства, термин, не выражающий никакого интереса феодала к «поселению» этой рабочей силы и не способный компенсировать для времени до XIV в. отсутствие термина «деревня» для обозначения поселения, которое наш автор называет «будущей деревней». А тогда, под каким все же термином надлежит искать в источниках это крестьянское поселение до XIV в., раз оно и существует до XIV в.? Это естественный, законный вопрос и должен был бы послужить предметом специального исследования историка сельского поселения XI—XVI вв., взявшегося проследить «появление и смену различных форм» его.

Мы и имеем возможность заняться здесь еще и этим исследованием. Но думаем, что некоторые данные для гипотетического ответа на этот вопрос имеются и в работе Н. Н. Воронина. Он отмечает (в четкой формулировке В. И. Сергеевича) тот общеизвестный факт, что в документах XV—XVI вв. термином «село» обозначается обычно сельское поселение, в котором живет сам владелец или его представитель в особом лагере и в котором зачастую имеется и церковь; нет села без владельческого двора (стр. 66). К селу же тянут «деревни».

Однако широкое развитие поместного землевладения ведет к тому, что владельческие дворы оказываются и в деревнях, которые и становятся в таком случае центрами притяжения «деревень», вошедших в состав данного поместья. В этом случае мы имеем дело с «деревней», которой в дальнейшем предстоит обратиться в «село». Мы имели возможность выше (стр. 366—367 настоящей статьи) отметить поверочный случай обратного порядка: обращение «села» светского вотчинника, после передачи его с деревнями в состав монастырских владений, в «деревню». А навело нас на обследование этого эпизода

¹⁰⁴ Там же, № 42, стр. 84, духовная великого князя Василия Дмитриевича: «... а даст моя княгиня дочерем моим из моих холопов по пяти семей».

сравнительно значительное количество дворов в заподозренных «деревнях», — и обследование показало, что здесь действительно мы имеем развенчанные «села», утратившие значение хозяйственного центра. Н. Н. Воронин привел интересные в этой связи данные (стр. 67—68) по Тверскому уезду в 1540 г., указывающие на преимущественное жительство в «селах» князей и бояр и преимущественное же жительство в «деревнях» мелкопоместных нетитулованных владельцев: массовый пример «деревень» на пути к «селу».

Н. Н. Воронин полагает, однако, что эта московская терминология стара, как мир, и что под селом всегда разумелось только поселение владельца-феодала или, до «внедрения его в толщу деревенского мира», владение феодала, населенное зависимыми от него людьми.

Мы имели уже случай показать, что это неверно и что спецификация термина «село» — явление в языке отнюдь не исконное, и происходит она в процессе длительной эволюции. Пережитком исконного общего значения термина «село» является и в московские времена то северное «село» (село земли), которое по смыслу своему тождественно термину «деревня», как обозначающему некоторую совокупность жилища-двора (дворов) и хозяйственных угодий. Думаем, что тоже в значении вовсе не феодального поселения употребляется летописями термин «село» применительно, например, к мордовским «селам», чюдским «селам» и т. п.¹⁰⁵ Столь же неспецифицированный смысл этого термина и в ряде случаев, когда речь в летописи идет и о русских «селах», сжигаемых и разграбляемых половцами, татарами и самими русскими в их феодальных войнах — случаях, когда нет никаких оснований адресовать аппетиты воюющих только к сельским резиденциям феодалов или их поселкам.¹⁰⁶ Когда нужно, летописная речь не затрудняется специфицировать термин «села» прибавкой «боярские».¹⁰⁷ А есть случай, когда идет в ход вместо обычного «села» для обозначения поселений, несомненно феодальных, термин «посели».¹⁰⁸

Но более показательным для нас должен являться язык юридических памятников. О Русской Правде речь уже была выше. Вот, например, Новгородская судная грамота: «а кому будет о земле дело, о селе, илио дву, или больши, или меньши,

¹⁰⁵ Новг. V, стр. 171, 230, 183; Лавр., стр. 429, 437, 426.

¹⁰⁶ Лавр., стр. 215, 240, 287, 288, 294, 315, 326, 332, 343, 344, 380, 385, 408, 413, 438, ср. также стр. 462: «бысть буря велика и много пакости бысть, по селом дубье подрало».

¹⁰⁷ Там же, стр. 362, 364

¹⁰⁸ Там же, стр. 469 (1216 г.): «И бяху полци силни велми... и вся сила Суздальской земли бяшетъ бо погнано и ис поселей и до пешьца».

ино ему до суда на землю не наезжать, ни людей своих не насылать, а о земле позвати к суду».¹⁰⁹ Это то же северное «село земли», только несомненно в феодальном обиходе, не усадьба и не хозяйственный центр, а крестьянская «деревня», отсчитываемая на единицы и дробимая на части. Одновременный с этой грамотой новгородский же договор с Казимиром знает и «потуг» (вместо погоста) для смерда, и частновладельческое «село», приобретаемое королем и его феодалами, и «село» черное, общинное, обязанное платить королю дикую виру за убийство «в селе» агентов администрации.¹¹⁰ Двинская уставная грамота под «селом» разумеет именно «деревенской» структуры общину, если даже не самое «деревню»: «а друг у друга между переорет, или перекосит на одном поле, вины боран, а межи сел межа тридцать бел, а княжа межа три сороки бел».¹¹¹ «Друг у друга» — это в пределах одной «деревни», тогда «межи сел» — между «деревнями». Псковский изорник «сидит» у господина «на селе», «живет на селе», «умирает у государя на сели», «отрекается с села», его «живот остается на сели», бежит он «с села» — это та же будущая «деревня», только феодальная. Но вот — «где оучинится бой оу торгу, или на улицы, во Пскове, или на пригороде, или в селе на волости ... ино кто бился, того человека ... выдати ... битому человеку, а княжая продажа». Здесь «село» — всякое село «на волости», т. е. вне городов и пригородов.¹¹² Это тот же исчерпывающе-разделительный оборот речи, что и в Ярославовом уставе о церковных судах: «а будет городских людей, за сором 3 гривны ... А сельских людей за сором гривна...».¹¹³

Как не знала термина «деревня» рязанская грамота XIII в., так не имел его на языке и составитель духовной грамоты новгородца Климента в XIII в., когда хотел выразить, что монастырю даются два села не как монолитные поселения, а как комплексы поселков, тянущих к селам: «даю... два села с обильем и с лошадьми и с бортью и с малыми с е л и щ и».¹¹⁴ Позднее сказали бы: «и с деревнями».

Московские судебники знают уже термин «деревня», но он, так сказать, не завоевал себе еще всех причитающихся ему по-

¹⁰⁹ М. Ф. Владимирский-Буданов. Христоматия по истории русского права, изд. 5, вып. 1, СПб. — Киев, 1899, стр. 202, ст. 7.

¹¹⁰ Там же, стр. 222, ст. 15: «а сведется вира, убьют соцкого в селе, ино тебе взяти полтина».

¹¹¹ Там же, стр. 142, ст. 4.

¹¹² Там же, стр. 168, ст. 51; стр. 179, ст. 84; стр. 165, ст. 42; стр. 176, ст. 76; стр. 158, ст. 27.

¹¹³ Там же, стр. 237, ст. 22.

¹¹⁴ Там же, стр. 137.

зиций от «села». «Деревня» появляется там всего один раз как спутник «села», и появляется как составная часть феодального владения: «а промежи сел и деревень городити огорода (изгороды) по половинам; а чьею огородою учинится протрава, ино тому платити, чья огорода. А где отхожие пожни от сел и от деревень, ино поженному государю не городитися: городит тот всю огороду, чья к пожне земля ораная пришла».¹¹⁵ «Государь» — это не крестьянин, речь идет о селах и деревнях частновладельческих, об огородах по границам не между «селами» и не между «деревнями» одного феодального владельца, а по границам между владениями двух частных владельцев, будет ли это старое насиженное гнездо — село или новоявленное владение, где центром является, за неимением села, еще «деревня». Это и есть характерная новизна в феодальной сфере: широкое и бурное, массовое развитие поместного землевладения в XV—XVI вв. перехлестнуло наличие старых «сел» и в роздачу пошли «деревенские» комплексы и даже отдельные деревни.

Но вот в судебныхниках является не освоенный еще феодалом крестьянин и его поселение: «а христиане промежу себя, в одной волости или в селе, кто у кого между переорет или перекосит, ино волостелем или поселскому имати на том за боран по два алтына».¹¹⁶ Это — то же, что выше в Двинской грамоте: там «друг у друга» — здесь «в селе», там «межы сел» — здесь «в одной волости». Менее ясно положение с этой терминологией в судебныхниках в ст. 63 княжеского и ст. 84 царского под заголовком «О землях суд». Княжеский дает: «а взыщет черной на черном, или поместник на помесчике... или черной или сельской на помесчике или помесчик на черном и на сельском», между тем как царский, вместо подчеркнутых, ставит: «или черной сельской» и «на черном на сельском». Но в том и другом случае «сельской» не имеет отношения к «селу» в специфически-феодальном его значении.

Проникла «деревня» и в губную московскую запись XV в., где речь идет о суде в «селах» и «деревнях» удельных князей и где, по-видимому, владельческие села противопоставляются черным деревням.¹¹⁷ Наконец, полную победу «деревни» над «селом» дает нам Судебник Федора Ивановича в статье о крестьянском отказе, где формула княжеского и царского судебныхников: «а крестьяном отказыватися из волости в волость и из села в село» — заменяется: «а крестьяном отказыватися из во-

¹¹⁵ М. Ф. Владимирский-Буданов, ук. соч., изд. 4, вып. II, 1901, стр. 103, ст. 61; стр. 172, ст. 86.

¹¹⁶ Там же, стр. 104, ст. 62; стр. 173, ст. 87.

¹¹⁷ Там же, стр. 71, 72, ст. ст. 8, 9.

лости в волость, из деревни в деревню». «Село» в этом памятнике решительно отступает в глубокий тыл, а «деревня» выступает в разнообразных положениях, как подлинная живая клеточка общественной ткани.¹¹⁸

Подобные, по необходимости довольно беглые, наблюдения над словоупотреблением повествовательных и юридических памятников древности, с учетом всей его консервативности, наводят на предположение, что появление в языке особого термина «деревня» для обозначения чисто крестьянского сельского поселения стоит в связи не с пробуждением нового интереса к старому явлению, а с потребностью отличить один предмет от другого, когда оба предмета в действительности обрели устойчивые отличительные признаки, сохраняя тождественные родовые черты.

Крестьянское сельское поселение старше сельского поселения феодала, и термин «село» применялся к нему в известном на языке искони. Термин этот покрывал затем и феодальные внегородские владения, будь то рабочий поселок земледельческого типа или резиденция владельца. Если термин «деревня» появился на северо-востоке действительно в начале XIV в.,¹¹⁹ это свидетельствовало бы, что именно там и тогда оказалась налицо названная выше потребность. Но здесь сказалось бы торжество отношений феодального строя, поскольку вместе с тем феодальный язык, отставая, конечно, от жизни, поворачивал и на освоение термина «село» с последующим монополизированием его в пользу господского поселения.

Хронология языка могла бы подсказать здесь исследователю сельского поселения и хронологию явлений — в вопросе о «господских» поселениях. Задача исследователя, поставившего себе целью выяснить «общую основу появления и смены различных форм сельского поселения», и заключалась бы в том, чтобы в общих условиях исторического развития найти объяснение указанному терминологическому выражению основного факта в истории сельского поселения и с возможной четкостью в известных пределах определить его во времени. Но для этого, конечно, надо было заняться вопросом о «деревне» пристальнее, чем то сделал наш автор.

Н. Н. Воронин, по-видимому, склонен отождествлять «деревню» то с «семьей», то с «крестьянским пашенным двором» и считает ее, как и их, «основной ячейкой» сельской общины как дофеодальной, так и феодальной, тем приспособляющимся

¹¹⁸ Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. М., 1900, стр. 46, ст. 178; ср. также ст. ст. 159, 161, 162, 165, 166, 168, 171—177, 179, 223, 225.

¹¹⁹ См. духовную Ивана Калиты: СГГД, ч. I, №№ 21, 22.

к любым условиям элементом ее, который разумел Ф. Энгельс в своей характеристике марки. Это все то же «открытое поселение отдельной семьи», возникшее «за пределами писанной истории» и за ее же пределами «оторвавшееся» от своего «прежнего городища», но оставшееся «связанным в большое объединение на основе общинного владения землей» (стр. 70). Это «поселение отдельной семьи», отрываемое феодалом от общинного комплекса, обращаясь в объект хозяйственных операций феодала, и «расставляемое» и передвигаемое по господской теперь земле, все же обнаруживает свой центроостремительный, общинный инстинкт тягой к «возобновлению функций мира — волости» и внутри господского земельного владения, образуя «мелкое хозяйство при крупном землевладении» (стр. 72—75).

Таково, по существу, «стабильное» определение «деревни», на обоих этапах охраняющей свою «семейную», кровную природу и не обнаруживающей никакой тенденции даже к росту, не говоря уже об образовании внутри нее иных, кроме родственных, уз. Но почему же старинное семейное поселение в начале XIV в. получило новое название «деревни»? Мы думаем, что появление нового термина в языке опрокидывает устанавливаемое Н. Н. Ворониным реальное тождество «деревни» с «семьей» и «пашенным двором», не существующее и в источниках. Значит, ни односемейность, ни однодворность не характерны для «деревни» и не вскрывают ее природы.

Мы упрекали автора в терминологическом подходе к изучению крестьянской общины, которую он пытался уложить в прокрустово ложе «погоста», и поселения феодала, к которому он привязал насильственно все и всяческие «села» своих источников. С «деревней» автор поступил как раз наоборот. А между тем это и есть тот случай, в котором обязательным и единственно плодотворным был бы именно строго терминологический подход, в котором явление и термин, кажется, не успели еще разойтись в изучаемую автором эпоху, в XIV—XVI вв.

* * *

Изложенные выше замечания, потребовавшие некоторых дополнительных частных исследований, справок и текстуальных анализов, могут быть сведены к следующим положениям.

1. Нет оснований отрицать, как то делает Н. Н. Воронин, повсеместное наличие территориальной сельской общины с малой семьей в основе на территории феодальной Руси в изучаемую автором эпоху. «Север» и «северо-восток» исторически в этом отношении не обогнали того, точнее не определяемого автором, района, который он называет «Украиной» и где

вместо такой общины, по его мнению, существует еще больше-семейная община, притом более крупного как будто масштаба, чем территориальная в других местах.

2. Вопрос о том, как и где называлась подобная территориальная община на дофеодальном этапе (до ее «первоначального феодального крещения», по выражению автора), исторически едва ли существенен. Поскольку, однако, Н. Н. Воронин придает своему исследованию терминологический характер, приходится указать на то, что ему не удалось привести ни одной черточки в источниках в пользу того, что такая община всюду и везде носила на дофеодальном этапе название «погост». Поскольку, при этом, автор не пытается дать какое-либо иное языковое объяснение этого термина, простое отрицание его связи с гостьбой и остановками князей в полюдье не продвигает, а тормозит отнесение этого термина в дофеодальную древность.

3. Исторически существенно другое: автору, нельзя даже сказать, не удается, а он просто и не пытается на протяжении всей своей книги не то что показать, но даже и помянуть, что «погост» (именно «погост», а не просто территориальная община) и на феодальном и на дофеодальном этапах был «объединением ... на основе общинного землепользования». В виде такого «объединения» погост у автора является сюрпризом уже только в «итогах» на стр. 57. Само собою разумеется, что, при этом условии, автор не попытался установить (или исследовать) вопрос о реальной связи: 1) между «установлением» (что предание приписывает Ольге и без чего немыслима данническая эксплуатация) места сбора дани, с одной стороны, и общинным землепользованием всех тех платящих хозяйств, которые по княжескому «уставу» должны были свозить дань в назначенный княжеской властью пункт, с другой; а также 2) между географическим удобством пункта для гостьбы и общинным землепользованием всех тех вступающих в обмен хозяйств, которые не могли производить этого обмена иначе, как в этом географически удобном пункте. Между тем «установление» погостских округов феодальной властью и называние погостских пунктов именами феодального происхождения, как то проскальзывает в двух сколько-нибудь конкретных известиях о погостах Мстинских и Рязанских, свидетельствует в этих двух случаях о хозяйственно-административной феодальной инициативе в погостском плане и не дает никаких намеков на монообщинность подобных погостов в отношении землепользования. Мы думаем поэтому, что автор оказывается на грани смешения двух живых исторических тел различного происхождения, — когда феодальное административ-

ное деление, имевшее в виду интересы и удобства даннической эксплуатации населения в полном отрешении от того, пользуется ли землей это население все сообща или более мелкими объединениями, автор не отличает от территориальной дофеодальной общины.

4. Что касается конкретного представления автора о «погосте», то «значительное» количество хозяйств — «семей», которое он приписывает дофеодальной территориальной общине на основании единственного письменного свидетельства начала XIII в., т. е. эпохи уже феодальной, встречается у нас в таком насквозь нарочито-литературном, а не конкретно-хозяйственном скружении, что строить на нем представление о феодальных рязанских погостах (и вопрос еще, целостных ли общинах в отношении пользования землей) никак нельзя. Тем более сомнительны были бы какие-либо ретроспекции отсюда в эпоху дофеодальную.

5. Судьба термина «погост» неодинакова в различных районах неукраинной феодальной Руси. Для начала XVI в. она четко определяется — и это, кажется, упустил из виду принять во внимание автор — духовной Ивана III. В ней погосты, наряду с «волостями, путями и селы», фигурируют в великом княжении Новгородском, при Торопце, Великих Луках и других городах, далее при Брянске, при Месческе (в частности, не упоминаются в Рязани). Здесь термин сохранился, по-видимому, для обозначения административно-податного округа. На северо-востоке же, который является преимущественным центром внимания автора, ни окружное, ни общинно-территориальное употребление этого термина не имеет места, и фигурирует погост здесь в качестве только пункта и в XVI в. пункта уже только церковного. Никаких признаков связи этого термина с дофеодальной общиной здесь в источниках мы не находим. Тем более не находим мы здесь признаков связи этого пункта со строем земельных отношений на северо-востоке.

6. Таким образом, «погостская» концепция автора, если он на ней будет настаивать, обрела бы твердую базу лишь тогда, когда она в плане вопросов землепользования, а не податного обложения и иных административных функций феодальной эпохи, была бы выверена им же самим на материале хотя бы тех местностей, которые упомянуты со своими погостами в духовной Ивана III. Великодержавные тенденции подобной концепции в отношении непременно и Суздальской территории, поскольку они проявляются в терминологическом плане, до такой проверки исторически бесполезны.

7. Независимо от всего изложенного мы не можем согласиться с автором, когда в «итогах» от утверждает, что

«погост» — после своего «феодалного крещения» в «подданную общину» — «в дальнейшем» становится «селом». Этого в источниках автор не показал.

8. Неверно, далее, что «село» «на ранней ступени своего развития» «имеет смысл поселка рабов на господской земле». Уже одно упоминание в источниках «сел с челядью» и «сел со изгой», на которое ссылается сам автор, предостерегает от отрицания одновременно и сел без тех и без других (например, с закупами, со смердами и т. п.).

9. Мы думаем поэтому, что автор представляет себе историческое развитие термина «село» ошибочно — сквозь призму понятия «села» в документах XV—XVI вв. Село — это исконный термин для обозначения сельского поселения как крестьянского, так и господского.

10. Устанавливая для термина «слобода» два типа развития и два параллельных значения — торговопромышленного поселения и земледельческого, автор для этого последнего основным признаком принимает тот же, что и для «села»: поселок рабов на господской земле. Не показав второй разновидности слободы в источниках, он вместе с тем не показал, как, когда и в каких условиях эта земледельческая слобода вступает в свой второй этап: поселения на владельческой земле свободных производителей. Вместе с тем автор оставляет в стороне вопрос о различии «села» и «слободы» на обоих этапах, которые, по видимому, для обоих терминов совпадают и влекут для них одинаковые последствия. При этом слободу, однако, автор считает более «архаическим» типом поселения, чем село, — и тем окончательно запутывает вопрос о слободе, увлекая за ней и село.

11. Независимо от этого смешения «слободы» и «села» на первом этапе, автор слишком бегло остановился на земледельческой слободе второго этапа, не давая читателю указания хотя бы на те источники, к которым следовало бы обратиться для уяснения вопроса о всяческих слободах, как земледельческих, так и таких, которые не утрачивали своего «сельского» характера, хотя бы и теряя свой земледельческий характер.

12. Автор не показал исконности «деревни» как земледельческого поселения даже дофеодалной Руси и, в сущности, уклонился от исторической ее трактовки как сельского поселения, отождествив ее с семьей и с двором, хотя ни семья, ни двор никогда не были сельским поселением. Тем самым автор вызывает у читателя сомнение, была ли и феодальная «деревня» сельским поселением или только составной частью его, будь то «погост» или что-нибудь иное? Мы возражаем против такой постановки вопроса о «деревне» не просто потому, что здесь

автор отказывается от изучения условий хотя бы появления термина, если не смены его (задача, которую он ставил себе в начале исследования), а потому, что у читателя от этой главы остается очень скудное представление: стояла себе искони от «дописьменных» еще времен семейная деревенька и постаивала, затем общинная земля в одик прекрасный день сменилась под ней на феодальную, господскую, и пошли ее «переносить» и «расставлять на двое», и продолжает она себе стоять все та же односемейная, да однодворная... Тот «длительный исторический процесс», который, по мнению автора же, сделал из «деревни» «правильно распланированный поселок» в «позднейших источниках», здесь еще и не начинался. На глазах у читателя растут погосты — территориальные общины — чуть ли не до 300 семей, растут села, растут слободы, растут города — растут все и всяческие сельские и несельские поселения, а эта «отдельная заимка» стоит в стороне и ждет в неведомом будущем начала прописанного ей будущего процесса. Да есть ли это равноправный, «основной», один из четырех «основных» видов, вид сельского поселения (как сказал автор в начале своего исследования) и не есть ли это только составная часть любого из трех прочих «основных» видов?

13. Подведя читателя своей трактовкой «деревни» к подобному вопросу и не ответив на него, автор оставил открытым и вытекающий отсюда второй вопрос: а может быть, однако, как раз «погост» (община ли, податной ли округ) не является сельским поселением, и тогда очистится место и для «деревни» в качестве сельского поселения? Вот почему мы думаем, что автору следовало прежде всего остановиться на этом последнем понятии, основном понятии сельского поселения, и выяснить его, прежде чем сталкивать «деревню» с «погостом» так, что она оказывается отброшенной на четвертое и последнее место, тогда как у самого же автора она в конечном счете (как и у С. Б. Веселовского) оказывается в изучаемый период исконной формой именно сельского поселения. Оказывается она таковым у автора еще даже и на «дописьменном этапе истории», как определяет он ее хронологию, — вопреки всем тем письменным источникам, какие предстоят перед читателем в последней главе разобранного нами молодого, ищущего и отважного (в борьбе с препятствиями, какие ставит источник), а потому и интересного труда Н. Н. Воронина.

С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ. «СЕЛО И ДЕРЕВНЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ XIV—XVI вв.».

Структура книги

С. Б. Веселовский строит свое «историко-социологическое исследование» о деревне и селе на северо-востоке в XIV—XVI вв. на «описании» отдельных митрополичьих и монастырских владений в Московском, Звенигородском, Можайском, Верейском, Новоторжском, Переяславском, Владимирском, Юрьевском, Ростовском, Костромском и Ярославском уездах по данным писцовых документов и монастырских актов книг XVI в. Самым наличием источников автор вынужден был оставить в стороне светские владения, зато ему удалось, как видим, достичь довольно широкого охвата северо-восточного материала в географическом отношении. Для каждого такого владения автор дает (в четвертой главе) его краткую хозяйственную историю с сопоставлением цифровых данных, рисующих эволюцию этих владений на протяжении XV—XVI вв., и сопровождает это сопоставление часто кратким указанием на дальнейшие судьбы владения в XVII в. В главе пятой, последней, автор на основании сделанного «описания» считает возможным «уверенно» наметить «основные этапы эволюции» селений и «гипотетически» осветить «факторы и все главные условия» этой эволюции (стр. 130).

На деле С. Б. Веселовский, конечно, не ограничивается историей собственно «деревни» и «села» как типов поселения, а дает в очень широком плане конкретный очерк истории землевладения на северо-востоке, и главу третью, например, специально посвящает мелкому вотчинному землевладению на северо-востоке и его историческим судьбам, имея в виду восполнить тем существенный пробел в нашей исторической литературе и используя здесь тот же архивный церковный документальный материал, который ему пришлось впервые пустить в научный оборот, в сопоставлении с опубликованным, в главе четвертой. Интересные сами по себе данные об этом виде землевладения (стр. 56—68), сложенного начисто «реформами» 1550 и следующих годов, не дают однако, ничего для характеристики той основной эволюции селений, которую прослеживает автор на примерах крупных земельных владений.

Ведущим общим наблюдением относительно судеб этих последних является у С. Б. Веселовского «укрупнение» селений, в частности деревень, которому он склонен придавать значение хозяйственного приема, характерного для новой политики фео-

далов, а эту политику ставит в связь с потребностью в рационализации сельского хозяйства вообще и в развитии владельческой запашки в частности. Проявление же этой хозяйственной инициативы землевладельцев автор, помимо ряда других условий, ставит в связь и с переменой в порядках тягла в описываемую эпоху — и вторую главу посвящает историческому очерку этих порядков, «строю отношений», какой существовал «у жильцов мелких деревень между собой и с землевладельцем», с целью наметить соотношение между «эволюцией этих порядков» и «эволюцией селений» (стр. 37).

Это как бы вводная глава к основной части исследования (четвертой и пятой главам) предваряется главой первой, где автор останавливается на «типологическом исследовании селений» (стр. 69), считая такими типами (для XIV—XVI вв.) три: погост, село и деревню. Это «типологическое исследование» является тоже вводным по отношению к основному исследованию, поскольку заранее формулирует (и предвосхищает) некоторые его результаты, которые получают свое подлинное раскрытие и обоснование лишь в четвертой—пятой главах. Отсюда вытекают некоторые формальные свойства текста книги, затрудняющие пользование ею и заставляющие разыскивать иной раз необходимые факты в разных ее местах, не имея точных ссылок на материал, упоминаемый автором в данном месте (см. стр. 23, 28, 30, 54, 55, 131, 132, 140).

Над всем исследованием довлеет подчеркнутая конкретность изложения и громадная начитанность автора в источниках, сказывающаяся в целом ряде замечаний по отдельным вопросам и чертам феодального строя и быта, щедро разбросанных по пути общих и основных фактов, явлений и обобщений, связанных с главной темой исследования автора. В иных случаях, однако, беглость или аподиктичность подобных замечаний интригует читателя, не раскрывая документации, которую сам имеет в виду, но читателю не дает автор. Последнее относится преимущественно к первой, отчасти ко второй главам, и остается пожалуй, если виной здесь была экономия места, каким располагал автор. Некоторые из нижеследующих сомнений, вопросов и контрверз возникли, вероятно, на почве этого последнего условия работы С. Б. Веселовского.

«Терминологические замечания»

Таковы прежде всего недоумения, вызываемые «общими терминологическими замечаниями», предпосланными автором его типологическому исследованию.

Деревня XIV—XVI вв. есть «комплекс угодий ... составлявших в целом деревенское хозяйство» — это общепринятое положение не вызывает спора. Но далее: «слово деревня означало не самое селение, не постройки, а участок земли», — поясняет автор, и отсюда начинаются уже недоумения. Значит ли, что «купить деревню» означало купить «комплекс угодий» без дворов и построек? Автор поясняет еще раз: «... в купчих XVII в. деревню продавали обыкновенно с крестьянами и их дворами», а «в XIV—XVI вв. крестьяне и их дворы никогда не упоминаются в купчих» (стр. 12). Но значит ли последнее, что при продаже деревни в XIV—XVI вв. крестьяне и их дворы перемещались в третье место или что покупались только «пустоши, что были деревни»? Значит ли, с другой стороны, что в XVII в. деревня продавалась с крестьянами и дворами, но без пашенной земли и прочих угодий? Если же нет, и если в XIV—XVI вв. продажа деревни не сопровождалась выселением крестьян или их обезземелением, и если в XVII в. в продажу вместе с крестьянами и их дворами шли и угодья — тогда в чем тут разница по существу между деревней XIV—XVI вв. и деревней XVII в. (а не между формулярами купчих)?

В свете наблюдений над термином «село», собранных нами выше (см. стр. 410—413), сомнение вызывает и терминологическое замечание автора о «селе». «Древнейшее село (в Киеве и позже на северо-востоке), — пишет С. Б. Веселовский, — есть населенное владение, княжеское или боярское, в котором, кроме главного селения с владельческим двором, могло быть множество мелких селений — деревень» (стр. 12; разрядка наша, — Б. Р.). Мы думаем, что это определение неверно и предвосхищает позднейшую спецификацию значения интересующего нас термина. Но пусть так: значит, в древнейшем селе «могло» и не быть мелких селений и оно могло быть только владельческим двором? По-видимому, да: «главное селение», «село» было административно-хозяйственным центром княжеского или боярского владения, в котором вокруг владельческого двора прежде всего стали возникать дворы «господских холопов». Следовательно, — второй вопрос: древнейшее «село», в виде сплошного рабочего поселения при боярском дворе, явление исконное или вторичное? Следующий этап в развитии «села»: «позже в селе стали ставиться дворы сирот и крестьян, но еще в XV в. и даже в первой половине XVI в. не были редкостью села, в которых не было никаких других дворов, кроме господского и людских, а крестьяне жили по деревням, окружавшим село» (стр. 12). Когда же и при каких условиях произошло это расщепление термина «село»: первоначально — «владельческого двора», затем комплекса господ-

ского центра и мелких крестьянских деревень и, наконец, только центрального поселения с холопами и крестьянами? Откуда, вообще, появились крестьяне во «владении» — селе — сначала в мелких деревнях, потом в самом центральном селе? Ибо как искони владельцы-феодалы жили в «селе», так искони же свободные крестьяне жили в своих мелких поселках «деревнях», как следует из только что изложенного. Почему же так поздно появляется самый термин «деревня», раз он покрывает исконное явление?

С. Б. Веселовский полагает, что «в то же приблизительно время (когда в селе-центре стали «ставиться крестьянские дворы», — *Б. Р.*), т. е. в XIV—XV вв., село приобретает значение центра церковного прихода» (отнимая его от древнего погоста), и, по-видимому, этому обстоятельству придает капитальное значение в преобразовании «древнейшего села» в село XVII—XIX вв.: стоило «только» селу «после устройства приходской церкви» «стянуть крестьян из мелких деревень в свою околицу» — и «тогда наконец оно приобрело тот вид и то значение, которое имело в XVII—XIX вв.» (стр. 12). Отсюда возникают два вопроса: какая же движущая сила медленно (в течение XIV—XVII вв.) переселяла крестьян из «деревень» в «село» — церковный приход или владельческие интересы и инициатива? Если то и другое вместе — то не значит ли это, что над деревнями тем самым воздвигается исторический крест, и как они дожили все же до XIX в. включительно? Какое место в этой концепции надлежит отвести тем деревням, которые уже в XVI в. сплошь и рядом становились в обладании помещиков тоже владельческими бесприходными центрами? Для этих последних, т. е. бесприходных хозяйственных центров, автор оставляет, однако, лишь термин «сельцо», возводя для этого времени в решающий признак «села» приходскую церковь. Поскольку автор ведет речь о превращении в большое сплошное крестьянское поселение только «села» (а не сельца), приходится думать, что «стягивание» крестьян шло по линии именно церковных связей. Если мы ошибаемся, и «стягивание» обуславливалось «владельческим» интересом, то при чем тут устанавливаемое автором хронологическое совпадение между образованием «сельского» прихода и стягиванием в «село» крестьян?

Итак, по мысли С. Б. Веселовского, во-первых, древнейшие села — владельческие центры с XIV в. — постепенно превращаются в приходские центры, что и становится основным признаком «села»: основной признак хозяйственного центра сообщается теперь одинаково и «сельцу», «как бы недоразвившемуся селу» (и недоразвившейся до сельца деревне?); во-вторых, древнейшее село — владельческий комплекс,

«владение» с мелкими деревнями вокруг села, становится постепенно владельческим же сплошным поселением без окружающих деревень, терминологически отщепляется от этих последних, поглощая часть их населения, и в таком виде начинает свой последний этап — с XVII и до XIX в.

В итоге, ко всем возникшим из определения С. Б. Веселовского вопросам присоединяется и еще один, едва ли не самый существенный: под каким термином как в древнейшее, так и в последующее время скрывается в этой концепции сельское поселение свободных от господской власти крестьян и какова его структура? Кроме мелкой «деревни», одиночки «хутора» (как выразился автор на стр. 25 и 26 про частновладельческую деревню), на долю свободного крестьянина, кажется, ничего не остается. Автор, однако, на этом предмете в своих терминологических замечаниях не останавливается вовсе — и подобное заключение является простым домыслом читателя, ответственность за который ложится, однако, не на него.

Этот домысел читателя получает, однако же, косвенное и не совсем ясное опровержение в терминологических замечаниях автора о «погосте». Автор склоняется к «этимологическому» толкованию «погоста», как «места, где останавливались погостить приезжие торговые люди» (стр. 14); но погост же — и место остановки князей на полюдье, а еще раньше — «место, куда население собиралось периодически — одновременно и для жертвоприношений и для торговли». Значит, первоначальный погост — центр некоего района, связанного с ним культовыми и торговыми связями, затем центр, куда население свозило дани и оброки.

Но одновременно автор считает, что «погосты, как места княжеских остановок, должны были очень рано получить значение центров известных округов» (стр. 15), причем «первоначально к погосту была закреплена не территория, а подданное и подсудное население». Последнее различие непонятно, поскольку речь идет об оседлом населении, княжеское же происхождение «округов» не вяжется с возникновением княжеских погостов «на местах языческих мольбищ», куда народ сходил из определенной округи как в привычное для этого оседлого населения место отправления культа (стр. 14, 15). А далее погост становится, «как привычное для населения место периодических сборищ», «местом, где ставили церковь», и погост (уже и до того округ) приобретает «значение прихода» (стр. 16). Ниоткуда, при этом, не видно, почему автор такой погост считает явлением «Киевской Руси» (стр. 13) и полагает, что оттуда («из Киева»; стр. 16) «погосты распространились на север» и что и в Суздальской Руси можно

«наблюдать много ... пережитков киевских явлений». Во всяком случае автор признает, что в новгородских владениях на севере погост был центром «мирского самоуправления» (стр. 13), а это, по-видимому, значит, что деревни-хутора свободных крестьян оказываются неудачным домыслом читателя, обусловленным, однако, структурой терминологических определений деревни и села, приведенных выше, — неудачным по крайней мере для севера. Для Суздальщины же автор, намекнув на пережитки, открыто отказывается от «специального, очень интересного исследования» их и оставляет здесь читателя в совершенной неопределенности по хуторскому вопросу вообще, по вопросу об отношении «погоста» и «мирского самоуправления» в частности, и по вопросу просто о «мирском самоуправлении», безотносительно к погосту или иному какому пункту, еще частнее (ср., однако, упоминание «черных миров» на стр. 19).

«Типологическое исследование селений»

Перейдем теперь уже непосредственно к «типологическому исследованию» перечисленных трех видов поселений. Здесь несколько неожиданным является для читателя следующее обстоятельство: найдя «погосты» на Киевщине, автор на первых же порах теряет их на Суздальщине и вместо погостов начинает вести речь о «станах» (т. е. «местах остановки князей, а позже их наместников, волостелей» и т. п.; стр. 16), «с течением времени» приобретающих значение «основного территориального деления». Их древность (считая от XV в. назад) автор определяет в «несколько столетий», не ссылаясь на источники. Признаком их древности он считает то, что (по примеру Кашинского и Дмитровского уездов) названия свои они берут от рек и местных урочищ, а не от сел: но тут интересно было бы сопоставление их названий прежде всего с названиями соответственных погостов. С. Б. Веселовский приводит мимоходом только одно: Корзенев стан, где стан волостеля был на Козьмодемьянском погосте; зато в Кинельском стану, по его же указанию, стан волостеля был даже и не на погосте, а недалеко от села Дерюжина (стр. 18).

Указания эти, впрочем, слишком случайны, чтобы судить об интересующем нас соотношении станов и погостов. Между тем далее автор высказывает любопытное замечание о постепенном «вытеснении волостелей из станов» распространением имунитетных владений и об обусловленном этим «разложении всей системы кормлений», в связи с чем, по его мнению, «находится эволюция погостов (не станов) и утрата ими

своего первоначального значения» (стр. 19). Так снова у автора является на место стана уже сам «погост». Но иммунитет «становится общим правилом» в XV в., и, по-видимому, к этому времени и надлежит относить утрату погостами первоначального значения: как с этим примирить замечание автора, что «утрата погостами ... своей роли как станов ... произошла в такие времена, от которых у нас почти не осталось источников»? С другой стороны, еще раньше, по мнению автора, произошла (на Суздальщине же?) «утрата погостами своего торгового значения» (стр. 19): когда и, главное, при каких условиях, остается необъясненным вовсе, даже и гипотетически. В «сохранившихся источниках», по мнению С. Б. Веселовского, мы можем наблюдать только уже «последний этап в отживании погостов» — «утрату ими значения церковно-приходских центров».

Эту последнюю автор ставит в связь с стремлением «привилегированных» землевладельцев заводить церкви в «селах» и образовывать приходы, «совпадающие с границами боярщины» (стр. 20), что лишало «соседние» погосты прихожан, оставляло погостские церкви «без пения» и вело «нередко» к бесследному исчезновению погоста. Те же погосты, которые остались приходскими центрами, «в XVI—XVII вв. превратились в села», а «огромное большинство погостов XV—XVI вв. (уже, — Б. Р.) не имело приходов» (стр. 20). Но сам же автор совершенно правильно замечает, что в XVI в. «почти все уцелевшие погосты стояли не на частновладельческой, а на государственной земле»: не свидетельствует ли это о том, что овладеть погостами привилегированному частному землевладению удавалось не так часто, как окружающими боярщиной деревнями? А в связи с этим возникает и сомнение относительно аподиктического утверждения автора о бесприходности «огромного большинства погостов XV—XVI вв.», оставшихся вне «боярщин». На это сомнение наводит не только сохранение в это время черных и дворцовых волостей, а и появление именно в XV—XVI вв. многочисленных мелкопоместных владений, никак не связанных с боярщинными селами и их церквями.

Мы не имеем возможности остановиться здесь на судьбах погостов-приходов в XVII в., как не делает того и автор, и остановимся лишь на единственном примере «финала борьбы между владельческим селом и погостом за приходы», который усматривает С. Б. Веселовский в писцовой книге Коломенского уезда 1578 г.¹²⁰

¹²⁰ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 335—611.

Показателем этой «борьбы» автор считает отметку писцов, что «тот или иной погост „стоит без пенья“... в иных церковь „обвалилась“, а иные запустели совсем, оставив по себе на соблазн соседней участки беспризорной земли» (стр. 20). Справка по одним только ссылкам автора не может дать характеристики положения с погостами в Коломенском уезде, хотя она, за одним исключением, совершенно точно указывает на случаи запустения погостов или обвала их церквей.¹²¹ Для этого надо брать картину Коломенского уезда в целом. Тогда вопрос о положении церквей в нем представится в следующем виде.

В стане Большом Микулине¹²² поименовано 12 погостов. Из них (если придавать значение точности отметки писцов) 3 специально названы «погостами царя и великого князя», остальные просто «погостами». Погосты царя и великого князя — все в живущем. Из 9 остальных в 4 церкви стоят, действительно, «без пенья». Итого 8 погостов живущих, 4 пустых. О приходском или неприходском значении этих 8 погостов указаний нет. Но стоит отметить 2 живущих погоста, в которых обеспечение земельными угодьями создано было дарением вотчинников-землевладельцев: один погост имел свои 60 четей «средние земли» — 40 от Н. Тевяшова и 20 от Ромодановского, а второй к своим 6 четям в поле присоединил данные по душе Ф. Берсеневым в сельце Лукерьине 30 четви, и оба погоста были, конечно, в живущем. Это — погосты-фавориты частных землевладельцев, и относительно Берсенева можно утверждать, что у него «в сельце» не было своей церкви.¹²³ Но заглянем, как обстоит дело в этом же стану с церквами вне погостов, на поместных и вотчинных землях. В поместной раздаче было здесь 16 «сел». Из них в 10 были действующие церкви, в 4 церкви стояли «без пенья», в одной церковь «завалилась» и в 2 церквей не сохранилось вовсе — т. е. на 10 живущих было 7 убылых церквей. Но даже из 24 вотчинных сел в 2 церкви стояли тоже «без пенья».

Таким образом, в погостах 33% запустения, в «селах» — 22%. Однако исторически правильнее взять села помещичьи отдельно от вотчинных: тогда в помещичьих будет 44% запустевших церквей, в вотчинных — 8%. Погостская цер-

¹²¹ Имеется в виду здесь ссылка на ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 501; где упоминается живущий погост с целыми двумя церквами. Вместо указываемой автором стр. 436 надо смотреть стр. 432. Пропущен соответствующий пример церкви «без пенья» на стр. 569.

¹²² ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 393—394.

¹²³ Там же, стр. 376 — описано сельцо Лукерьино-Фомино, бывшее «преж того» в вотчине за Ф. Берсеневым, с немецкой мельницей, но без церкви.

ковь держалась здесь крепче сельской помещичьей. Но не является ли этот упадок церквей во всех трех категориях выражением только общестанового факта запустения «деревень» без малого на 50% (70 деревень живущих, 68 пустых)?

Аналогичную картину дают и другие коломенские станы с подорванными погостами. Стан Песоченский: ¹²⁴ из 2 погостов запустел в нем один, зато из 5 вотчинных «сел» одна церковь запустела вместе со своим селом, в обоих помещичьих «селах» церкви — одна «развалилась», одна стала «без пенья»; при этом из помещичьих селений запустело 9 «деревень» при 4 «сельцах» и 8 деревнях живущих, из вотчинных запустели 5 деревень на 2 сельца и 4 деревни жилых. Стан Покрянский: ¹²⁵ из 6 помещичьих «сел» только в одном действовала церковь, в 5 церкви стояли «без пенья», причем из них к селу Озерку («к тому селу») был записан «погост Петровский» как раз с действующей церковью; из 2 вотчинных сел в одной церковь «обвалилась», а из 3 погостов церковь «обвалилась» только в одном. Стан Усмерский: ¹²⁶ на 3 действующих погостских церкви столько же приходилось «без пенья», но тут же оба помещичьи «села» стояли без церквей, а из 2 вотчинных сел одно имело церковь «без пенья»; это запустение погостов на 50% находит себе параллель в запустении помещичьих деревень (на 10 селец и 54 деревни жилых приходилось здесь 8 селищ, 7 деревень и 78 пустошей в пусте). Стан Коневский: ¹²⁷ из 5 сельских помещичьих церквей «без пенья» стоят 2, из 3 погостских «без пенья» одна, на 28 пустошей при 25 жилых сельцах и деревнях. Стан Комаров: ¹²⁸ из 4 погостских церквей «обвалилось» 2, в 3 селах сохранились все 3, но вне «сел» на 3 живущих деревни приходилось 6 пустошей.

Как видим, во всех перечисленных примерах случаи запустения погостов идут параллельно с запустением и сельских церквей, особенно на поместных землях, и стоят в прямой связи с запустением соответствующих станов, — и земли запустевших погостов не представляют, вопреки замечанию С. Б. Веселовского, большего «соблазна» для соседей, чем иные запустелые деревни и села.

Но вот по тому же Коломенскому уезду примеры благополучного сохранения погостских церквей наряду с неблагопо-

¹²⁴ Там же, стр. 472—482; погосты на стр. 482.

¹²⁵ Там же, стр. 484—488, 492.

¹²⁶ Там же, стр. 583, 584, 588, 592—594.

¹²⁷ Там же, стр. 408, 411, 415, 416, 419, 431.

¹²⁸ Там же, стр. 399, 401, 406, 407.

лучным состоянием «сельских». Стан Маковский: ¹²⁹ из 4 помещичьих «сел» в одном церковь «была» и исчезла, из 5 вотчинных «сел» в одном церковь «без пенья», а единственный погост стоит живым. Стан Скулневский: ¹³⁰ 2 помещичьих «села» оба без церквей («были»), из 3 вотчинных «сел» одно без церкви, а все 3 погоста остались целы. Или в «волостях»: ¹³¹ в Раменке во всех 3 помещичьих «селах» церкви бездействуют, а единственный погост живет, при наличии 4 церквей в 4 вотчинных «селах»; в Мещерке целы единственная сельская помещичья и единственная же погостская церкви, а из 4 вотчинных «сел» в одном церковь «без пенья». А вот, наконец, и 3 примера полного благополучия с церквами всех категорий в волостях Крутины и Холме, где в поместьях и вотчинах были только бесцерковные «деревни», а все погосты — нетронутые пустотой, и в стане Брашева, где при 2 «сельских» церквах действует и жилой погост. ¹³²

Итак, вопрос, когда погосты на Суздальщине взяли курс на положение кладбищенских мест, не разъясняется материалами, подобными Коломенской писцовой книге, которую С. Б. Веселовский считает показательной для «финала» борьбы между погостом и селом. Но, что это был еще не XVI в., кажется, дает повод думать и Коломенская книга. Во всяком случае в XVI в. питательной для жизни погоста средой должны были оставаться помещичьи деревни и сельца, не возглавляемые «селами».

Иное дело, когда погост шел в раздачу или в пожалование вместе с окружающими его «деревнями» и становился сам владельческим центром: тогда он сам становился «селом». Таково, например, «село» Петровское в Ижевском стану Дмитровского уезда с церковью св. Петра, с дворами попа, пономаря, проскурницы, 3 кельями нищих и монастырским двором, где жил приказчик, с церковной землей 10 четьи в поле и без всяких признаков в нем крестьянских дворов. ¹³³ Таково же и «село» Высокое в Высоцкой волости Коломенского уезда, окруженное многочисленными деревнями и слывшее под этим наименованием в течение всего XVI в. — и в качестве дворцового «села» в первой половине, и в качестве монастырского «села» же во второй половине века: его центром был погост

¹²⁹ Там же, стр. 433, 434, 436, 437, 439, 440, 442—444.

¹³⁰ Там же, стр. 445, 449, 451, 453.

¹³¹ Там же, стр. 517, 521, 523, 524, 527, 534, 537, 546, 548, 550.

¹³² Там же, стр. 551, 559, 569, 500, 501.

¹³³ Там же, стр. 771.

Егория страстотерпца в его дворцовую пору и просто церковь Егорей страстотерпец же в пору Чудова монастыря.¹³⁴

Таково же и другое «село» Петровское, описанное в Тверской писцовой книге дословно так: «погост на Мошнице, а на погосте церковь Петр и Павел, а живет на погосте Петр Шетнев; пашни полполполчети сохи. А нонеча князя Дмитрея Ивановича Микулинского село Петровское, а в нем церковь Петр и Павел, да придел Дмитрей Селунский; пашни в поле 70 четви в одном поле, а в дву потому ж, сена 300 копен, да поповы пашни 7 четви, сена 15 копен».¹³⁵

Но подобные метаморфозы не были для погоста утратой былого его значения: это было поглощение его «селом» с сохранением всех его прежних церковных функций. Вне такого непосредственного поглощения погоста «селом» пока у нас нет следов, так сказать, исторического усыхания погоста в результате якобы «борьбы» «села» за прихожан, ранее тянувших к погосту.

Расширим несколько круг наблюдения и убедимся, что Коломенская писцовая книга едва ли не ввела С. Б. Веселовского в заблуждение. Возьмем для этого уезды Тверской, Звенигородский, Вяземский, Тульский и Каширский.¹³⁶ Здесь в XVI в. насчитывалось не менее 70 погостов, из них в пусте лежал только один купно с 18 пустошами целиком запустелого Черепицкого стана Тульского уезда.¹³⁷ Все погосты стоят на земле царя и великого князя (для Тверского уезда соответственно: великого князя), а не на частновладельческой, и ни на одном из них церковь не «обвалилась» и не стоит «без пенья» — все это действующие погосты.¹³⁸

В громадном большинстве случаев «села» тоже имеют церкви: есть, однако, хозяйственно упавшие «села», но тогда вместе с ними выходят из строя и их церкви.¹³⁹ Особый случай

¹³⁴ Уставная грамота 1536 г. дана была селу Высоцкому (АИ, т. I, № 137), сотная была выписана на «волость Высокую черных деревень» и во главе ее деревень описан «погост, церковь Егорей Великий» (С. Шумаков, ук. соч., вып. III. М., 1904, стр. 20); в писцовой книге 1578 г. в вотчине Чудова монастыря, волости Высоцкой, описано село Высокое, «а в нем церковь Егорей страстотерпец» (ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 569)

¹³⁵ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 221.

¹³⁶ Там же, отд. II, стр. 175 и сл.; стр. 567 и сл.; стр. 1097 и сл.; отд. I, стр. 600 и сл.

¹³⁷ Там же, отд. II, стр. 1258.

¹³⁸ Там же, отд. I, стр. 709; отд. II, стр. 175, 176, 196, 221, 235, 243, 254, 287, 705, 717, 743, 1105, 1114, 1136, 1139, 1157, 1171, 1172, 1187, 1193, 1209, 1215, 1221, 1254, 1333, 1431—1434, 1467, 1487, 1506, 1522.

¹³⁹ Там же, отд. II, стр. 69 (пустошь Дубровки, а была в старых книгах село, а в ней церковь Матвей св.), 1137, 1176 (пустошь, что было

катастрофы с «сельской» церковью — это случай раздела старого «села» при поместной его раздаче.¹⁴⁰ Но и происхождение церквей в «селах» явно различно. Есть церкви, действительно, поставленные помещиками на «помещиковой земле» — их только и можно еще назвать историческими конкурентами погоста.¹⁴¹

Но едва ли не чаще «сельская» церковь в наших уездах стоит «на царя и великого князя земле», и некоторые писцы в таких случаях, при описании села, употребляют и старый термин («а на погосте» двор поп, двор пономарь и т. п.): это, очевидно, случаи благополучного перехода в помещичьи руки старых погостов при поместной раздаче.¹⁴²

Можно указать при этом на примеры, хорошо иллюстрирующие эти переходы погостов, производя погост, так сказать, на ходу из первобытного состояния в ранг «сельской» церкви. Так, в стане Растовец Тульского уезда описан погост в Салкове «на царя и великого князя земле, а на погосте церковь... да на погосте ж за Федором да за Клементом старое их поместье, а на их жеребей место дворовое помещиково, да 5 мест дворовых крестьянских».¹⁴³ Или еще: в Раставском стану Каширского уезда так и описано «село у Пятницы», «а в нем церковь Пятница св.» «стоит на царя и великого князя земле, а на погосте 4 двора церковных», «а та церковная пашня взята у помещиков». Кем взята? Конечно,

село Ивановское, а в селе была церковь Егорей Великий), 1179 (то же). 1194 (село Никольское, а в нем церковь Никола чудотворец, без пеня), 1313 (село Воронино, без церкви), 1337 (село Нечаево, без церкви), 1339 (село Накаполово, без церкви), 1360 (село Ретевша, без церкви), 1376 (село Ушаково, без церкви), 1383 (село без церкви), 1393 (то же), 1497—1498 (то же), 1522.

¹⁴⁰ Там же, стр. 1174, 1175 (село Рождественское поделено между 4 помещиками), 1307 (село Терново поделено между 4 помещиками, и погост запустел), 1320 (село Воскресенское поделено между 2 помещиками, причем церковная пашня 10 четви в поле «осталась за мерою» у одного из них, а церкви нет), 1426 (село Реткино поделено между 10 помещиками «татарами», без церкви), 1427—1428 (село Осовка, то же), 1444 (село Белугино поделено между 4 помещиками, церкви нет), 1454 (село Красино поделено между 6 помещиками, в селе церковь стоит без пеня), 1477 (село Хвощино поделено между 3 помещиками, церкви нет).

¹⁴¹ Церкви на «помещиковой земле» см. там же, стр. 1119, 1141, 1147, 1149, 1180, 1237, 1246, 1250, 1251, 1366, 1390, 1400, 1416, 1417, 1488.

¹⁴² Там же, стр. 1145, 1147, 1213, 1236, 1253, 1359, 1366, 1379 (село Оринкино поделено между 3 помещиками, и отдельно описана сельская церковь, приходная, на царя и великого князя земле), 1390 (то же с церковью с. Аннина болота, поделенного на 3 части), 1402 (то же), 1403, 1405, 1406, 1411, 1415, 1417, 1419, 1420, 1476, 1501, 1509 и др. Пример запустения села и сохранения в целости (и в живущем) приданного «к той пустоши» погоста на царя и великого князя земле см. стр. 1109.

¹⁴³ Там же, стр. 1254.

царскими агентами при отводе поместья.¹⁴⁴ Там же село Растовец описано таким же «погостским» языком: «Никола чудотворец, стоит на царя и великого князя земле, пашни ...» и далее с красной строки следует описание половины села Растовец за помещиком.¹⁴⁵

В этой связи любопытно, что в Тешиловом стану Каширского уезда писцы среди погостов в конце описания стана описали одну «сельскую» церковь св. Николы, стоящую в селе Коверине «на царя и великого князя земле». Вероятно, потому, что она в глазах писцов ничем не отличалась от смежного с ней в книге погоста на Скнижском отвершку с церковью Фрола и Лавра: обе церкви были «приходные», «поставлены» были там и тут помещиками, «строены» приходами, а земли для них были «взяты» (писцами) в первом случае из «примерных» земель Коверинных, а во втором случае из земель Нарышкина и Петрова, оставшихся у них «за их дачами». При этом в первом случае в приход к коверинской сельской церкви были приписаны еще помещики Хрущов и Тутолмин, от которого к церкви было отписано сенокоса на 30 копен, а в погостской церкви приняты участие, кроме Нарышкина и Петрова, еще несколько Лодыженских, владевших, как и Петров, несколькими деревнями в районе р. Скниги.¹⁴⁶ Разница тут, по-видимому, была только в том, что во втором случае на погосте еще не успело образоваться села, может быть, по чисто топографическим условиям. Но и погост, попавший в «село», и погост, оставшийся вне «села», относительно окружающих помещиков оказались здесь в сходном, приходского типа, положении.

В заключение отметим несколько случаев гибели погостских церквей не в результате «борьбы» с ними «села», а уже после и, пожалуй, даже в результате обращения своего в «село». Такова «пустошь, что было село Неэдино» в Заупском стану Тульского уезда, «да к той же пустоши погост на царя и великого князя земле ... а на погосте церковь ... да двор попоз» и т. д.: не потянуло ли за собой здесь «село» и погостскую церковь?¹⁴⁷ Таково, вероятно, село Воскресенское в Раставском стану Каширского уезда, в котором только и числилось, что «пашни церковной» 10 четвй в поле, а следов церкви не было никаких.¹⁴⁸ Там же село Накаполово в том же положении.¹⁴⁹ Терминологический след подобного же

¹⁴⁴ Там же, стр. 1418.

¹⁴⁵ Там же, стр. 1359.

¹⁴⁶ Там же, стр. 1507, 1490, 1497, 1504.

¹⁴⁷ Там же, стр. 1109.

¹⁴⁸ Там же, стр. 1320.

¹⁴⁹ Там же, стр. 1339.

казуса имеется, может быть, в Микулинском стану Тверского уезда, только казус этот относится к давно минувшим для момента описания временам: это «село Погост» с 4 бобыльскими и 8 крестьянскими дворами без всяких признаков места и пашни церковных, не говоря уже о самой церкви. Когда-нибудь, вероятно, этот «погост» попал в частновладельческое обладание и, став «селом», разделил участь этого частного владения.¹⁵⁰

Насколько иногда терминологически живуч оказывался «погост», тому пример в стану Ворконском Вяземского уезда «погост Горки» с церковью Ильи пророка, церковной пашней и т. п., «да на погосте же 2 помещиковых места дворовых»: он был теперь за братьями Якушкиными, а перед тем «был» за Гр. Наумовым, «а преж того» был за Иваном Петровым сыном Чевежи, т. е. как поместье попадал теперь уже в третьи руки и никак не мог расстаться со своим названием «погост».¹⁵¹

Если ко всем этим наблюдениям прибавить нередкие в наших уездах случаи катастроф, по разным причинам, именно с сельскими церквами, то и те и другие должны склонить нас не придавать особого значения для XV—XVI вв. в исторических судьбах погоста оцерковленье «сел». Скорее XVI в. приходится считать временем передышки в истории церковных погостов. В XVI в. тучи скопились как раз над привилегированной «боярщиной», а «села» боярские пошли массами в поместную раздачу, и гибли при этом именно «сельские церкви», а не погосты. Если в поместную раздачу шли иногда и погосты, то особенность их и целость обеспечивались выделением их земли как «царя и великого князя земли» и выделением им, в случае надобности, пашни и всяких угодий «из помещиковой земли». Бывшей погостской церкви угрожало иногда исчезновение при многочастном разделе «села»; в XVI в. погосту и его церкви не угрожала конкуренция боярского «села». Но и в XIV—XV вв. боярское село не нанесло смертельного удара погостской церковной системе как таковой. До кладбищенского места погосту Суздальщины в XVI в. было еще очень и очень далеко.

Село*

Как бы то ни было, и «село», расположившееся вокруг погоста и территориально его поглотившее, а зачастую и усвоив-

¹⁵⁰ Там же, стр. 114, 349.

¹⁵¹ Там же, стр. 660.

* Здесь и далее заголовки намеченных самим Б. А. Романовым разделов очерка даны редакцией, поскольку в рукописи автора они отсутствовали.

шее его церковное наименование, и «село», возымевшее вновь свою собственную церковь, в типологической части исследования С. Б. Веселовского являются «новой формой» селения, «наиболее интенсивно» образовывавшейся в XIV—XV вв. До этого, т. е. до появления в «селе» приходской церкви, оно, в его «древнейшей» форме, было «владельческим двором, в котором или возле которого жило большее или меньшее количество рабов», а «все прочее население боярщины проживало в окружающих село деревнях» (стр. 22): оно было «только» «владельческим административно-хозяйственным центром».

«Новая форма», т. е. село — приходский центр не с одними только холопями, а и с крестьянскими дворами, — не сразу в XIV—XV вв. завоевало себе прочное положение в терминологии и, указывает С. Б. Веселовский, перебивалось в ней «старым» значением «села», потому что понятие, обозначаемое словом «село», не возымело еще «определившегося содержания» (стр. 22). Здесь автор явно несколько отступает от своего категорического определения «села», данного в «терминологических замечаниях», хотя и не отказывается все же от «владельческой» его спецификации.

Но и только что формулированное автором «древнейшее» значение «села» как «только» хозяйственного центра вступает здесь в столкновение со «старым» значением: «в смысле имения, населенной территории, даже участка земли вообще», — значением, которого одинаково не знали и «терминологические замечания». И появляется оно здесь у автора впервые, причем которое старше: «древнейшее» или «старое» — остается неясным.

Очень ценно наблюдение С. Б. Веселовского относительно состава населения «новой формы села» в XV—XVI вв. и соотношения в нем количества холопских и крестьянских дворов. Лично нам представляется очень вероятным общий гипотетический вывод, какой делает автор: что здесь мы имеем убывающее слагаемое в виде холопских дворов и новое, нарастающее слагаемое в виде крестьянских дворов. Но, разумеется, для того чтобы вероятность этого вывода приблизилась к бесспорности, необходимо было бы не ограничиться сведением в таблицу (стр. 23) 9 примеров по Переяславскому уезду из материала главы четвертой, а сделать то же хотя бы и по материалу Калачовских писцовых книг (Тверского, Вяземского, Тульского уездов) и такую же выборочную таблицу дать по какому-либо району за XVII в., писцовым материалом по которому никто в такой мере не располагает, как С. Б. Веселовский. Только тогда наличие убывания процента холопов в «новом» селе и нарастание процента крестьян стали бы для читателя наглядны и

бесспорны и действительно получили бы, как хочет того автор, характер и силу аргумента в пользу древнейшего частновладельческого села с челядью в ретроспективном плане.

Другое наблюдение над изменением состава населения села, в связи с получением им значения прихода, представляется нам спорным и пока не обоснованным автором: наблюдение, что «священники в очень многих местах» жили вне сел в мелких деревнях и «только... в связи с процессом укрупнения селений и ликвидации мелких деревень-хуторов стали переселяться в села» (стр. 26; разрядка наша, — Б. Р.). По крайней мере это наблюдение не подтверждается ни тверскими, ни вяземскими, ни тульскими, ни каширскими данными писцовых книг, где дворы поповы почти без исключения значатся либо в селе при церкви, либо на погосте при ней же¹⁵² и где и автор сам не пытается указать следы укрупнения или ликвидации деревень.

Нам представляется, что здесь автор недостаточно обследованное (и совсем не существующее) явление (сельское, а не деревенское, местопребывание священника) связал с недостаточно обоснованным капитальным тезисом, о котором речь будет идти ниже.

Деревня

Если историю погоста и села автор начинает еще со времен киевских, то «деревня» («в 1—3 двора») появляется у него в качестве не только «основного», но и первоначального «типа поселения» «XIV—XV вв.» (стр. 26). Автор, конечно, разумеет здесь поселение не просто внегородское, а именно крестьянское: «село» — это основное и первоначальное поселение феодала с холопами, а «погост» даже «не стал населенным пунктом» (стр. 16), хоть последнее и стоит в прямом противоречии с действительностью (двор попов, двор пономарь, реже двор дьяконов, двор проскурницы, кельи нищих — вот обычный состав населения погоста XVI в.).¹⁵³ Выше в «терминологических замечаниях» С. Б. уклонился от этимологического толкования «деревни», сославшись на «спорность» ее этимологии. Здесь автор уклоняется, кажется, и от хронологии «деревни». Можно только косвенно установить, что, по мнению С. Б. Веселовского, «деревня» существовала на Руси искони, ибо «могла» во «множестве» окружать еще «древнейшее» село в Киевщине (стр. 12). Во всяком случае и для XIV—XV вв. на северо-востоке логический приус понятия «деревни», ее характерность за-

¹⁵² См. стр. 430, прим. 141, 142.

¹⁵³ См. там же.

ключается в ее малодворности (1—3 двора), и, значит, деревня в 4—15 и т. п. дворов для северо-востока в XIV—XV вв. есть (1) исключение и (2) явление не «первоначальное», а производное, выросшее из первоначального поселения в 1—3 двора. Исходя из классического определения, данного В. И. Сергеевичем новгородской деревне («пашенное хозяйство с отдельным двором», «появление нескольких дворов есть результат деления основного двора»), автор считает его «применимым» и «вообще ко всей Северо-Восточной Руси» (стр. 26) с некоторыми «поправками и дополнениями». Но почему тогда он считает «основным и первоначальным» типом деревню в 1—3 двора, а не в 1 двор: деревня в 3 двора, по В. И. Сергеевичу, явление уже производное, результат деления «основного» двора. Ни в поправках, ни в дополнениях автор не уточняет своего отношения к данной В. И. Сергеевичем концепции «деления основного двора», а, собирая колониционные примеры в актах XV в. (очень немногочисленные), останавливается как на типичном на поселении в 1—2 двора под именем «деревни» (стр. 31, 32). Таким образом, в противоположность Н. Н. Воронину с его концепцией деревни как «заимки отдельной семьи», С. Б. Веселовский не считает кровного начала конститутивным принципом деревни даже в самый момент ее возникновения. И в этом пункте автор твердо стоит на базе источников.

Этого, однако, нельзя сказать об его определении «деревни» в целом и самом существенном, именно в том пункте, что такая «деревня» в 1—2 двора была «первоначальным типом поселений» XIV—XVI вв. Источники, привлекаемые здесь автором, относятся к XV—началу XVI в., крайне немногочисленные и свидетельствуют только о том, что на северо-востоке, как и в новгородских владениях, «деревня» в 1—2—3 двора — явление нередкое. С. Б. Веселовский при этом сам же подчеркивает для XV—XVI вв. — причем здесь автора поддерживает уже и весь богатый материал писцовых книг второй половины XVI в. — две характерные черты «деревни»: 1) разномерность «деревенских владений в целом» и разнообразие «в соотношении их составных частей» даже при одинаковом количестве дворов, и 2) особенно «устойчивость деревенских владений» и консервативность ее границ. Но что значит, однако, что такая разномерная и консервативная в своем составе деревня является «первоначальным» поселением для какой-либо данной эпохи (сейчас безразлично, какой)? Если это должно значить, что в XV в., при заселении какого-либо района впервые, крестьяне не появляются в данном районе отрядами, например в 15 семей, и не обзаводятся соответственным количеством дворов в 2 ряда

вплотную один к другому и с улицей между рядами, — то это не подлежит спору: новое «первоначальное» заселение района в XV в. в междуречье (Оки и Волги) организуется землевладельцем или княжеским слободчиком по крупицам и идет мелкими поселениями в порядке индивидуального «называния» или «своза» крестьянина с прежнего места жительства. Но если это значит, что в XIV—XV вв., т. е. два столетия подряд, крестьяне живут в исконных стабильных одно-двухдворных деревнях, разбросанных по всему суздальскому северо-востоку, как «пятна леопардовой шкуры», при естественном росте населения стремясь сохранить эту форму поселения и ставить, отселяясь из отцовских дворов, в отдалении новые одно-двухдворные деревни, т. е. что мелкая деревня является «первоначальным» для всего этого времени и всего этого населения типом, который только к началу XVI в. и то лишь в порядке насильственного владельческого переноса дворов и сведения воедино угодий соответственно дает более крупный тип в 4—5 и т. п. дворов, — то именно этого мы и не находим в источниках автора.

По-видимому, все же, автор имеет в виду в своем определении и то, и другое. При раскрытии этого определения на конкретном материале он не ограничивается случаями образования в XV в. деревень в порядке владельческого заселения не тронутых земледельческой культурой или покинутых населением пространств, а и пользуется уже понятием «владельческого укрупнения селений», вторично предвосхищая его в этой главе как реальный и бесспорный фактор, меняющий физиономию «первоначальной» деревни, и вынуждая читателя или по указателю или по глухой ссылке («ниже») разыскивать в главе четвертой фактический материал, имеющий прямое отношение к выяснению коренных черт северо-восточной деревни XIV—XVI вв. Крайне затрудняя читателя, это обстоятельство делает фактическую почву под построением автора зыбкой, а самую конструкцию внутренне противоречивой. Так, автор, с одной стороны, полагает, что устойчивость комплекса деревенских владений поддерживалась не только условиями производства, но и заинтересованностью землевладельцев — даже в случае запустения деревень и утраты ими комплексного характера — «в сохранении памяти о былых владениях деревень» (стр. 28).¹⁵⁴ С другой стороны, устойчивостью «раз сложившихся» деревенских участков он объясняет «то, что укрупнение селений происходило чаще всего не вследствие естественного

¹⁵⁴ Это выражалось в том, что «запустевшие деревни очень долго описываются в последующих писцовых книгах, большей частью в тех же границах, как пустоши, что были деревни, и в этом отношении сами землевладельцы «оказывали влияние на писцов» (стр. 28).

роста населения, а за счет количества деревень, т. е. путем ликвидации мелких деревень и припуска их земли к укрупненному селению». Но и там, где по условиям местности деревня «могла принимать новых жильцов и расти», на пути этому росту ставилась «тенденция самих крестьян селиться мелкими деревнями», так что даже «родственники и даже сыновья предпочитали уходить на свободные земли и ставить свои деревни» (стр. 30, 31). Спрашивается: кто же был заинтересован в сохранении «первоначального», «мелкого», характера деревни — владелец или крестьянин? Вопрос этот тем более законен, что (далее) «землевладельцы сравнительно редко соединяли в одно селение жилые деревни, а предпочитали выжидать, когда деревня... пустела, и тогда присоединяли ее землю к жилой деревне» (стр. 30). Выходит так, что, выждав и дождавшись обращения деревни в пустошь, землевладельцы же заинтересованы были зараз и в сохранении памяти о ней и в том, чтобы ее припустить к жилой. Нельзя видеть выхода из этого противоречия в том, что «влияние землевладельцев в сторону укрупнения деревень становится несомненным сравнительно поздно, только с XIV в.», потому что «вскрыть» подобное влияние землевладельцев для XV в. автору мешает только недостаток источников, а не их противополоказания (стр. 31).

Итак, для характеристики деревни XIV—XV вв., а не только текущего процесса заселения пустых пространств, из указанных положений автора для читателя вытекает следующий вывод. Если и при «первоначальном» заселении крестьяне предпочитают селиться 1—2 дворами, если и землевладельцы еще не заинтересовались более крупной формой поселения, если, в силу устойчивости деревни, естественный рост населения деревни ведет не к ее укрупнению, а к отселению на сторону, если наличие уже в первой половине XVI в. деревень в 3—4—5 и т. д. дворов должно объясняться не естественным «ростом первоначальной деревни», а «чаще всего» «владельческим укрупнением ее», — то для XIV—XV вв. мы должны иметь на северо-востоке, как правило, повсюду деревню в 1—2 двора. И понятие «первоначальности» в разбираемом определении имеет оба отмеченные выше смысла.

С. Б. Веселовский при этом охотно признает, что «хозяйственный комплекс деревенских владений образовывался в зависимости от ... ландшафта местности», чем объясняет «разнообразие» в «размерах» и «соотношении» составлявших деревню угодий, а также и разрозненность угодий («отхожие пашни и покосы»), на преодоление которой для северо-востока отводит XIV—XV вв., в течение которых лихорадка купель, мен, любовных размежеваний и судебных межевых процессов при-

водит к тому, что «в XV—XVI вв., в виде общего правила, деревенский участок был в одной меже» (стр. 27). В этом и заключалась, по автору, история северо-восточной деревни в XIV—XV вв. Но на этом и кончается у него действие разнообразия местных, в частности «ландшафтных», условий: оно не касается людского состава деревни, где безгранично царит инстинкт к сохранению карликового состава деревни. История северо-восточной одно-двухдворной деревни, вращающаяся в течение двух веков вокруг борьбы за одну межу, оказывается, таким образом, зажатой между этим универсальным крестьянским отселенческим инстинктом и начавшимся в XV в. «владельческим укрупнением», которое, пользуясь случаями запустения деревень, открыло наконец дорогу к численному росту этого поселения. Вся территория Северо-Восточной Руси на протяжении двух веков стоит перед читателем в одном куске и в нерайонированном виде, если не считать ничтожной уступки, которую автор делает в пользу «лесистых» местностей и местностей, «где лесные массивы были уничтожены уже давно», — и то только в том смысле, что в одних деревни были отделены одна от другой «перелесками», а в других они «стояли теснее и не перемежались перелесками» (стр. 28).

Каким фактическим материалом оперирует автор для построения этой исторически упрощенной и географически обезличенной конструкции в своем типологическом исследовании? Она стоит на двух упорах: «тенденции» крестьян отселяться из одно-двухдворной деревни и «владельческом укрупнении» деревень. Присмотримся к фактам, приводимым автором в интересующей нас главе (стр. 29—32), насколько они укрепляют эти упоры. Вот случай с одной деревней в Переяславском уезде, возникшей в однодворном составе в начале XV в. При вотчиннике Лыкове в ней поселился крестьянин Лапоть, сметенный затем вместе с двором в нашествие Едигея (1408 г.), затем на этом «селище» поставил деревню другой крестьянин, после этого Лыков в 1435 г. дал эту деревню в составе села, к которому она принадлежала, в монастырь, и, продолжая после этого менять жильцов, деревня переменяла их по совокупности целых 7, из которых только №№ 6 и 7 были связаны родственной связью, и все это на протяжении более 50 лет. О чем говорит этот эпизод? О том, что в течение 50 лет деревня сохранилась в полной неподвижности, о том, что монастырь, при сменах жильцов, никуда ее не припустил; но как происходили эти смены и возникал ли при этом какой-нибудь повод к ее росту, мы не знаем: жил в ней Феденя с сыновьями (№ 2), и неведомо как всех их троих в деревне не стало; поселился Еська с детьми (№ 3), пожил 5 лет, их также не стало; поселился

М. Воробьев (№ 4), пожил 4 года, и его не стало; поселился затем Буженина (№ 5), пожил всего 2 года, не стало и его; наконец, поселился Гридя Рыкуля (№ 6) и, пожив в ней 10 лет, вероятно, помер, оставив («остались») двух детей, которые и «пахали» еще эту «землю Лаптевскую» (по имени Ивана Лапотя — № 1) «после отца другой год», на который их и застала там описываемая в документе судебная тяжба.

Устойчивость численного состава деревни объясняется здесь — в плане концепции С. Б. Веселовского — хозяйственной пассивностью монастырских властей, не использовавших ни одного перерыва между посторонними друг другу жильцами, а о «тенденциях» самих жильцов судить тут никак нельзя.

Аналогичен эпизод и с другой монастырской деревней в том же уезде, в которой на протяжении 40 лет в XV же веке жили сначала отец, потом сын, а ее полная копия, деревня-соседка, фигурирует еще в конце XVI в. среди владений того же монастыря в виде однодворной пустоши: крестьяне опять здесь не причем (стр. 29—30).

Единственное известное автору описание устройства княжеских слобод XV в. рисует момент колонизации бывших владений новгородских бояр в Бежецкой пятине и, давая в среднем на деревню 2 двора, указывает и на деревни в 5 дворов, а главное, не может быть сопровождено никакими указаниями на дальнейшие судьбы этих «первоначальных» мелких деревень и действия в них отселенческого инстинкта крестьян, даже если бы удалось установить отсутствие при этом влияния природных условий (стр. 31). По глухой ссылке автора в главе четвертой мы нашли только два случая отселения сыновей (стр. 88, 119), и то не так уж идущих к делу, потому что оба случая — колонизационные и характеризуют заселение, а не подлинное отселение. В таком же положении и все другие глухие ссылки автора на стр. 32. Все это эпизоды колонизационные, случаи заселения 1—2 дворами. Исключение представляет лишь Карашская слобода Ростовского уезда, существовавшая к моменту ее описания в 1501 г. не менее ста лет и в 227 деревнях и починках числившая 456 дворов, т. е. в среднем по 2 двора. Данные, которые приводит о ней С. Б. Веселовский в главе четвертой (стр. 116 и сл.), едва ли, при внимательном рассмотрении, подтверждают теорию отселенческого инстинкта карашских слободчан. В момент описания 1501 г. территория слободы усиленно заселялась. Описание отметило 24 починка, и исторически в нашей связи более характерно то, что 8 из них стали в 2 двора, чем то, что 16 имели по 1 двору. Между тем сам же автор отмечает, что даже еще в XIX в. в Карашской волости «кроме 5 озер, было несколько значительных болот,

а по количеству лесов она занимала среди волостей Ростовского уезда одно из первых мест и почти $\frac{1}{8}$ часть волости была открыта лесом». Если при всем том в 1501 г. здесь было 30 деревень по 3 двора, 13 — по 4 двора и 5 деревень по 5—9 дворов, то мы склонны скорее видеть здесь естественный рост деревни там, где тому не препятствовали природные условия, и во всяком случае не иллюстрацию отселенческого инстинкта крестьян.

Таким образом, материал автора не подтверждает первый и главный упор построения автора, а тогда и принятая пока в кредит теория «владельческого укрупнения» как гипотеза теряет свое рабочее значение для объяснения роста населения деревни, раз препятствие, порождавшее историческое затруднение для естественного ее роста, отпало. Следовательно, и место этой гипотезе — в истории землевладения, а не в истории деревни как «типа» поселения в типологическом исследовании. Но тогда отпадает и самое определение деревни для северо-востока XIV—XV вв. как «первоначального» и «основного» типа поселения в 1—2 двора.

Мы думаем, однако, что подобная концепция северо-восточной деревни приводит автора не только, как отмечено в предисловии, в столкновение с ироническим замечанием Маркса о немцах, поселявшихся «каждый в отдельности и лишь впоследствии образывавших села, волости» (см. редакционное предисловие, стр. 8), но и с фактами, какие можно найти в русских источниках по этому предмету, каждый раз рассматривая их с поправкой на местные условия. Не с «деревни» начинается история человеческого поселения в любом незаселенном пункте Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. Она начинается либо с «займища», либо с «починка», в котором впервые и ставится крестьянский двор или даже 2 и более дворов. Из починка, если он выдержал испытание некоторого времени, и возникает в официальных документах «деревня». При данных условиях производства и уровне техники вместимость «деревни» в каждой данной местности имеет свой предел, и от нее в дальнейшем неизбежно отпочкование дочернего починка совершенно в том же порядке, в каком и «первоначальный» починок, превратившийся в деревню, в свое время явился результатом отселения крестьянина от достигшей своего предела деревни. Пределы вместимости деревни строго индивидуальны, но в своем среднем выражении поддаются районированию, сохраняя свой индивидуальный характер, однако, и в сфере данного района. При этом отселение в условиях частного землевладения могло и несколько запаздывать против момента, когда, казалось бы, предел вместимости уже достигнут. Совершающийся при таких условиях процесс роста деревни должен идти как мимо отселенческого

инстинкта крестьян, так и независимо от «владельческого укрупнения». Иллюстрацией к этому положению могут служить случайные наблюдения над судьбами тверских деревень в XVI в.

В тверских писцовых книгах еще первой половины XVI в. господствующим численно типом деревни является мелкая деревня в 1—2—3 двора. Что это не крестьянская просто тенденция, а явление, порождаемое какими-то местными условиями, можно думать потому, что здесь же имели место и частные отступления от этого типа. Село Тургиново, отданное в поместье С. И. Глинскому, являет здесь пример деревень, достигших предела вместимости, и массового образования починков: на 52 деревни приходится здесь 50 починков.¹⁵⁵

Больше всего здесь было двухдворных деревень — 22, на втором месте идут трехдворные — 11, затем четырехдворные — 9, только на четвертом месте находятся однодворные — 7, но была и 15-дворная и 2 шестидворных. Откуда бы ни шла волна поселенцев в новых починках — со стороны или из «тутошных» деревень в порядке отселения, в нашей связи характерно, что починки ставились не только в 1 двор (27 починков), а и в 2 двора (19), и в 3 двора (3), и даже в 4 двора (1). В волости Захожье, где было это село, за поместною раздачей осталось некоторое количество черных деревень и починков (36 и 3), всего 115 дворов — в среднем по 3 двора на деревню. Но за этой обезличивающей средней скрываются: одна деревня в 10 дворов, одна — в 9 дворов, 2 — в 6 дворов, одна — в 5 дворов и 6 — в 4 двора. И здесь, видимо, была значительная нужда в расселении: кроме починков, заведших пашню, было два, которые имели уже по одному двору, но были поставлены, вероятно, неудачно и брошены. Зато девятидворная деревня Котельниково, распахавшая 41 четь пашни в поле, не расселяясь, произвела захват «займища безымянного середь черных деревень на лесу», и «распахали его котельниковские крестьяне».¹⁵⁶

Присмотримся теперь к судьбам одного владения в волости Воловичих Тверского уезда за промежуток приблизительно в 35 лет, прошедший от первого описания в первой половине века до описания времени великого князя Симеона Бекбулатовича, — к селу Березникам с деревнями.¹⁵⁷

Как видно из табл. 1, Березники за это время в основном сохранили тот же состав деревень: исчезли бесследно 4 деревни с 9 дворами, но за это же время успели возникнуть три новые с 10 дворами. Сохранившиеся деревни, все мелкие, в 1—

¹⁵⁵ ПКМГ, ч. I, отд. II, стр. 40—42.

¹⁵⁶ Там же, стр. 49, 50.

¹⁵⁷ Там же, стр. 50, 51, 297—301.

Таблица 1

Наименование селений		Количество крест- яных дворов		Количество пашни, в четвертях		Количество сена, в копнах	
		1540 г.	1575 г.	1540 г.	1575 г.	1540 г.	1575 г.
Село	Березники ¹⁵⁸	8	8 + 4	127	96	240	30
Дер.	Подрезово	1	Пуст.	10	10	25	10
"	Бородино	1	"	10	8	30	15
"	Глухово	3	3 + 3	32	28	30	10
"	Дубровки	1	Пуст.	7	5	20	—
"	Цветково	2	2 + 1	13	10	10	15
"	Шокурово	1	2	12	12	25	—
"	Пузынино	2	3	11	11	9	10
"	Панюшино	2	3 + 1	11	11	13	—
"	(Комятино)	3	—	12	—	12	—
"	Рубцово	3	4 + 1	12	13	25	10
"	Осинник	2	Пуст.	9	8	5	—
"	Ивники	2	4 + 1	13	15	9	5
"	Совей Куест	2	1 + 3	8	13	20	—
"	Ковезино	2	2 + 2	14	9	20	10
"	Дедово	2	3 + 1	19	14	60	30
"	Новинки	2	Пуст.	6	8	200	30
"	(Ортемово)	2	—	9	—	30	—
"	Митино	1	1 + 2	13	16	20	15
"	Стригино	2	Пуст.	10	10	6	—
"	Синково	3	5 + 1	21	26	28	30
"	(Козлихино)	2	—	9	—	8	—
"	Сергеево	3	3 + 3	18	4	20	—
"	Метелкино	1	Пуст.	6	12	9	—
"	Ермаково	2	"	12	12	11	—
"	Зевалово	2	"	9	8	7	—
"	(Митино)	2	—	8	—	12	—
"	Лукино	2	Пуст.	12	12	8	—
"	Бараново	2	"	33	30	30	—
"	Перепечино	2	2 + 5	15	15	20	20
"	Осинник-Тремину	1	1 + 1	7	8	11	10
"	Сенино	2	3 + 1	20	16	20	—
	Всего	68	50 + 30	528	440		
	Прибыли после 1540 г.:						
Дер.	Трухина		2		7		20
"	Мырмино		2 + 3		18		30
"	Елочково		3		7		
	Всего		7 + 3		32		

¹⁵⁸ В скобки взяты деревни, описанные только в 1540 г. Во второй графе первая цифра означает жилые дворы, вторая за знаком плюс — дворы пустые. В некоторых пустошах по второму описанию сохранились пустые дворы, причем в двух случаях число пустых дворов совпадает с жилыми дворами описания 1540 г. (Осинник и Метелкино), в двух случаях расходится: в Ермакове вместо 2 жилых сохранился только один, в Подрезове показано 3 пустых двора на месте одного жилого 1540 г.

3 двора, в основном (с минимальными колебаниями, часть которых, может быть, относится и за счет писцов) удержали свой территориальный размер, по части сенокосов почти всюду являя некоторый упадок. По владению, помимо общего кризиса, прошла буря в виде морового поветрия, и 11 деревень обратилось в пустоши, кое-где сохранившие еще пустые строения. 17 селений, включая село, не только сохранились в неприкосновенности, но и в большинстве случаев увеличили свой подворный состав: за истекшее время прибавилось 38 дворов, но 30 унесено моровым поветрием незадолго до второго описания. В нашей связи важно, что за 35 лет на 68 дворов в деревнях и селе прибавилось 38 дворов, т. е. около 50%. Из сохранившихся деревень не было ни одной, которая в той или иной степени не пережила бы этого укрупнения своего дворового состава. Нет никаких следов того, чтобы это было рационализаторское укрупнение, произведенное владельцем в целях соединения мелких пашенных клиньев в одну межу: ибо ни одна из пустошей не была припущена в пашню к уцелевшим деревням. Значит, здесь происходил естественный рост населения или, может быть, даже приселение в старые деревни новоприходцев. Во всяком случае деревня в 1—3 двора сменилась здесь деревней в 2—7 дворов, и нет следов того, чтобы этим был достигнут (до морового поветрия) крайний предел вместимости березниковских деревень.

Мы думаем, что в наших примерах нет ничего специфического, связанного с общими явлениями и крупными событиями именно XVI в., и этот же механизм исторического развития сельского поселения должен был действовать и в XV и в XIV вв. Конкретные результаты в каждом отдельном пункте, районе и случае могли быть различны и индивидуальны, в частности под влиянием стихийных бедствий и разорений и уничтожений деревень во время ратей татарских или феодальных войн, — но это не меняет дела. Во всяком случае, не в виде *tabula rasa* начинала свою жизнь Северо-Восточная Русь в XIV в., и не с маленьких точек в 1—2 двора пошло медленное ее заселение в интересующие нас здесь два столетия. Основной массив сельских поселений застигнут был здесь нашей эпохой на ходу, в слагавшемся и сложившемся еще ранее виде и не был стерт с лица земли в 1237 г., когда татары в Суздальщине «взяша городов 14, опроче слобод, погостов и сел».

Система землепользования и обложения

Изображая «деревню» как «основное и первоначальное» поселение на северо-востоке, С. Б. Веселовский, как мы видели, склонен придавать ей характер карликового хутора и в даль-

нейшем, изучая ее изнутри, интересуется теми ее сторонами, которые способны подчеркнуть ее отрубной характер: вопросом «землепользования и распределения пашенных участков в нутри деревенских владений» (еще в главе первой, стр. 32—39) и строем отношений, «какой существовал у жильцов мелких деревень между собой и с землевладельцем» (глава вторая). Связь «деревни» с внешним миром ограничивается для автора связью ее с землевладельцем, и деревня как клеточка более сложных общественных организаций и сами эти организации не вошли в круг изучения автора. Благодаря такой трактовке вопроса о «деревне», она у читателя выпадает из всей окружающей ее общественной ткани и действительно обращается в одиночку-хутор, живущий особой жизнью под своим названием и выражающий — социальную или национальную, безразлично — склонность русского крестьянина к уединению. Это искажает «деревню» в типологическом плане, и еще дальше от истины в плане историческом.

Замечания автора, посвященные землепользованию «внутри» деревенских владений, исходят именно из противоположения «мелкой» деревни и «крупной» («в 10—15 дворов») как носительниц двух различных хозяйственных систем. В первом случае налицо трехполье «не столько» как «система хозяйства», сколько как «следствие» того, что «в основе питания» населения была «озимая рожь и яровые хлеба», и так как «озимь требует пара», то «неизбежно получалось 3 поля», но поля были далеки от равенства, были в разных межах и, неудобряемые, запереложивались — картина, насколько разумею, верно отображающая наши источники (стр. 32). Во втором случае «образовывались общие для всех ... деревенщиков участки ... озими, пара и яри», «стали применяться удобрения» и создавался «принудительный севооборот». Но автор и не пытается иллюстрацией из источников XVI в., к которому должна относиться эта вторая картина, подкрепить свою мысль, что одно только «образование крупных селений в 10—15 дворов было равносильно переходу к более интенсивному и рациональному использованию земли, к правильному трехполью с применением удобрения и, наконец, к улучшению покосного и лесного хозяйства». И немудрено: документы XVI в. вплоть до самого его конца и не могут дать заметить этого капитального перелома в строе деревенского хозяйства от одного только того, что деревня доросла до 10 и более дворов. Перелог, отхожие пашни и пожни, пашня, поросшая кустарем, лес пашенный и тому подобные атрибуты нерационального землепользования живут на протяжении всего столетия, и автору лучше известно, не переживают ли они

и в писцовых книгах по крайней мере первой половины XVII в.

О появлении в XVI в. хотя бы легких признаков новой «системы» на смену вынужденному (как «следствие») хаотическому трехполью мы не находим указаний и в характеристике, даваемой самим автором строю деревенского хозяйства в дальнейшем. В этой характеристике, материалом для которой служат автору все судебники до Уложения 1649 г. включительно, самой яркой чертой выступает связанное в понимании автора с бессистемностью и дробностью деревенского хозяйства огораживание полей и сенокосов и беспастушное содержание скота на воле. Какая же тут мыслима рационализация в стиле нарисованной автором для хотя бы и 10-дворовой деревни XVI в.?

Мы при этом не уверены, что С. Б. Веселовский правильно представляет себе «огороду» наших источников, толкуя ее всюду как огороду всякой «деревенской» пожни или пашенного клочка и ставя «обычай огораживания» в связь со «всеим строем хозяйства и землепользования мелких деревень». Автор полагает, что огораживание «возделываемых» «небольших оазисов» производилось внутри данной деревни с целью охранения пашенных клочков и отхожих пожен от собственного скота, бродившего на воле беспастушно за «непосильностью» для мелкой деревни «содержать» пастуха. Между тем источники говорят, по-видимому, об огородах (начиная с княжеского судебного, см. выше, стр. 412), имея в виду уже такое положение вещей, когда деревни и села частных землевладельцев, в процессе сплошного заселения района, в плотную подошли одни к другим, и дело шло не об охране одиноких мелких оазисов, а об огораживании тесно примыкавших одно к другому угодий разных владельцев, а не жильцов-деревенщиков.

При этом именно до крестьянских внутридеревенских клочков законодательству не было никакого дела, а вмешательство классового закона XVI в. начиналось там, где начинались и сталкивались классовые интересы «государей» сел и деревень, вотчинников и помещиков. Статья 230 Уложения Алексея Михайловича, приемница соответствующих статей обоих Судебников, отчетливо выразила мысль именно об этом междувотчинном и междупоместном огораживании.¹⁵⁹ Автор полагает, что «по

¹⁵⁹ Историческая приемственность формулировок правовых норм о разграничении угодий представляется нам в следующем виде. Двинская грамота, имея в виду крестьянские и княжеские земли, говорила только о межах: «а друг у друга между переорет или перекосит» (М. Ф. Владимирский-Буданов, ук. соч., изд. 5, вып. 1, стр. 142, ст. 4). «Огорода» является в ст. 61 первого Судебника как явление между-

мере роста населения и увеличения площади обрабатываемых земель огораживание полей становилось ... неудобным и нецелесообразным» (стр. 36); мы же понимаем дело так, что огораживание и выступило на сцену и вошло в законодательство столь прочно именно тогда, когда оно в связи с ростом населения и столкновением владельческих границ стало необходимым. И корни огораживания лежат не в «первоначальном» разбросанном уединенчестве мелкой крестьянской деревушки, а в позднейшем столкновении меж и границ как сел, так и деревень, независимо от численного подворного состава тех и других, хотя бы даже мы имели дело с 15—20-дворными деревнями, нередко попадающимися в писцовых книгах конца XVI в. и иногда подозреваемыми автором в том, что они являются результатом рационализаторского «владельческого укрупнения». Автор полагает, что «по мере роста населения» «выгоды крупных селений с общими полями и содержанием скота в стаде с пастухом брали верх над архаическими порядками мелких деревень», а в законодательстве Московского государства XVI—XVII вв. мы видим уточнение и разрастание, юридическую отделку статей, рисующих «архаическое», как думает автор, огораживание полей и угодий как один из существенных моментов поместного и вотчинного хозяйства даже и в XVII столетии. Или по какой-то причине законодательство здесь шло в направлении, прямо обратном тому, по которому якобы уже более ста лет эволюционировала землевладельческая политика «укрупнения» селений?

В главе второй С. Б. Веселовский предпринимает и ведет сложным путем ретроспективное исследование вопроса о податной ответственности крестьянина-сироты, мелкого деревенщика

владельческое, а не межкрестьянское, что разъясняется и его ст. 62 «о межах»: «а кто съорет между или грани ссечет из великого князя земли, боярина и монастыря...», «а христиане промежу себя, в одной волости или в селе, кто у кого между переорет или перекосит...», — где грань оказывается только на владельческой земле, если понимать под всякой гранью «огороду» (там же, изд. 3, вып. 2, СПб., 1887, стр. 104). Царский Судебник сохранил это различие в точности в ст. ст. 86 и 87 (там же, стр. 172). Уложение в ст. 230 выражается еще решительнее: «а промеж сел и деревень вотчинником и помещиком велеть городьба городити пополам», заменяя «огороду» «городьбой» и являясь уточненной редакцией ст. 61 (86) Судебников. Двинскую грамоту и ст. 62 (87) Судебников Уложение редактирует в ст. 231, воздерживаясь от замены граней огородой-городьбой: «а будет кто ни будь на государеве или на вотчинникове или на помещикове земле между испортит и столбы вымечет или грани высечет или ямы заровняет или землю перепашет...», — и распространяет все эти квалификации на крестьян: «а будет такое дело учинят крестьяне меж себя в одной волости или в селе...». Таким образом, налицо здесь восходящая историко-правовая кривая для «огороды».

XIV—XV вв., и приходит к выводу о личной его ответственности и «совершенной невероятности» коллективной ответственности друг за друга сирот боярщины или монастырщины для этих веков (стр. 51). В порядке противоположения, именно в этой связи, автор говорит, однако же, что «раньше всего коллективная ответственность в ограниченной форме стала применяться в княжеских слободах и волостях», т. е. допускает ее здесь, по-видимому, и для XIV—XV вв., не ставя и не уточняя вопроса о ее происхождении. Значит, как будто для судеб «деревни» вообще, как формы северо-восточного поселения, вопрос о порядках тягла не имеет значения, и изоляционистская трактовка «деревни», проводившаяся автором до сих пор, должна наполовину разбиться об это признание коллективизированной «деревни», оставшейся на черных землях князей. Все же нам представляется само по себе сомнительным, чтобы обложение данью крестьян частных владельческих, феодализованных деревень держалось на непосредственном общении плательщика с княжеским данщиком и личной ответственности деревенщика.

Сам автор, восстанавливая по скудным указаниям источников действие податного аппарата в Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., считает «очень знаменательным архаизмом» «употребление деревни как счетно-окладной единицы» в уставных грамотах первой половины XVI в. и, связывая это с летописным известием 1384 г. о сборе татарской дани «с деревни по полтине», указывает, что «в пределах деревни прежде всего зародилась раскладка между совладельцами той суммы податей и повинностей, которая падала на нее по писцовому или данному окладу» (стр. 47). Соответственно этому и «данные книги», составлявшиеся писцами и до нас не дошедшие от той поры, С. Б. Веселовский представляет себе в виде «списков налогоплательщиков по селениям, с указанием их податных окладов». Мы не думаем, что можно быть уверенным, как уверен С. Б. Веселовский, что пресловутая «соха» великого князя Василия Ярославича, с которой плачена была дань по полугривне в 1275 г. и в которой числилось «2 мужа работника», «продолжала существовать» и «в последующие два столетия», и не считаем исключенным некоторый ее рост именно в сфере московских великокняжеских порядков, судя по тому, что к половине XVI в. московская соха значительно обогнала консервативную новгородскую соху и числила в себе 10 новгородских сошек, каждая по три обжи, а «обжа, один человек на одной лошади орет».¹⁶⁰ Но каковы бы ни были количественные

¹⁶⁰ П. Милюков, Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. СПб., 1892, стр. 36.

судьбы московской великокняжеской сохи, оклад дани, падавшей на селение в «данных» книгах XIV—XV вв., должен был исчисляться в сохах. А так как, по признанию автора, появление пшца в северо-восточных волостях и селах было не ежегодным, — а мы думаем, судя по известным указаниям духовных грамот Василия Дмитриевича и Василия Васильевича, что и редким и неперIODическим, — то и расхождение сошного оклада с изменчивой реальной платежеспособностью селений неизбежно должно было держать в постоянном действии раскладочный аппарат исторически слагавшихся тяглых объединений, под чьей бы властью они ни находились. Классическое правило уставной грамоты 1509 г. («которая деревня больше пашнею и угодьем, и они на ту деревню больше корма и поборок положат») должно было быть общераспространенным и исконным основным законом всякого тягла.

В противоположность С. Б. Веселовскому нам представляется невероятным, чтобы этот раскладочный механизм, всюду стоявший между плательщиком и сборщиком дани и прочих сборов, замирал, как только сборщик переступал границу привилегированной боярщины и монастырщины. Не замирала же, по признанию автора, здесь «ответственность верви за дикую виру». И мы не можем уловить силы того аргумента, какой выдвигает он для отвода аналогии — круговой ответственности за виру и такой же ответственности по тяглу. По-видимому, разницу автор усматривает здесь в том, что «если убийца ... был ... выдан наместнику», «то население не несло никакой ответственности»: но, ведь, если тяглецы заставили своего соседа внести ими же и «наметанный» на него «сто столца» платеж, после этого на них тоже не оставалось «никакой ответственности» (стр. 51).

Помимо косвенных и общих соображений в пользу сохранения раскладочного механизма и на территории частных владельцев можно привести и документальные данные. Такова, например, переписная окладная книга по Водской пятине 1500 г., по структуре своей едва ли отличающаяся от древних «данных» книг. В ней есть описание волости Васильевской Онаньиной на р. Сестре «на немецком рубеже», отданной двум братьям Ехидновым. Центральным поселением ее было село Лисичье о 28 дворах, которое вместе со смежной двухдворной деревней было положено в 20 обеж. Кроме того, в волости было 9 деревень: одна, резко выдававшаяся среди прочих своими 9 дворами и 13 деревенщиками, была положена в 6 обеж, прочие в 1—2—3 двора положены были в 1—2 обжи. Волость была «оброчная», и при каждой деревне показан «старый доход» частью в натуре, частью в деньгах. В итогах показано, что

за этот старый доход, по старому письму, на волость было положено «оброку», валовой цифрой, семь рублей. По новому письму «о б р о к у положено на ту волость и за хлеб и за наместничь корм пол сема рубля и шесть гривен» — «о п р и ч ь о б е ж н ы е д а н и». Кроме того, «новые ключничьи пошлыны положено на ту волость на Рождество Христово ключнику с обжи деньга ноугородская, а на велик день ключнику деньга московская, а на Петров день ключнику деньга московская» — всего «с тридцати и с полушесты обжи 5 гривен с деньгоу ноугородских». Кто и как собирал этот новоназначенный оклад о б р о к а, ключничьи пошлыны и обежной дани, цифра которой имела еще, очевидно, дойти до волости в порядке погостской ее раскладки впоследствии? Конечно, сами деревенщики волости, попавшей под частного землевладельца. Это видно не только из того, что оклад обежной дани должен был прийти еще в общей волостной цифре, и не только потому, что оклад оброка тоже был показан только в общеволостной цифре. Имеем на этот счет и счастливое специальное указание: одному из деревенщиков, Сунику Сенкину сыну, помечена в книге («дана») «льгота на год, лета семь тысяч осьмого, а отсидит урок, и он даст оброку х р и с т и а н о м по семи денег в оброк, опричь обежные дани». Последнее, т. е. опричь дани, — оттого, что делом тех же «христиан» будет «метнуть» на него справедливую с мирской точки зрения квоту дани, когда станет известна ее общая цифра.¹⁶¹ Мы не видим оснований считать описанный случай новостью, или исключением, или местной особенностью, получившейся от соприкосновения северо-восточного писцового аппарата с крестьянской общиной на северной владельческой земле.

Но взятый нами случай являет и пример того, что уже к концу XV в. даже в этом общем малодворном деревенском районе могли образовываться крупные деревни в 9 дворов, раз позволяли местные условия. Нет оснований и северо-восточную деревню XIV—XV вв. огулом ранжировать под один однодвухдворный размер и только из этого последнего выводить, как то делает С. Б. Веселовский, возможность «употребления деревни как счетно-окладной единицы» при сборе дани в 1384 г. При всем разнообразии, переменчивости и в сторону роста, и в сторону измельчания отдельных населенных пунктов наличие в Москве в 1384 г. (после Тохтамыша), может быть, только «старых» списков с устарелыми сошными окладами могло побудить в этом году предпочесть подервенское назначение полтинного данного оклада именно в расчете на поравни-

¹⁶¹ Временник ОИДР, кн. XI, стр. 199—202.

тельное действие общинных раскладочных механизмов на местах.

Итак, наши разногласия с автором относительно северо-восточной деревни как типа поселения XIV—XVI вв. сводятся к тому, что: 1) мы не думаем, что карликовая «деревня» является «первоначальным» и «основным» типичным крестьянским поселением; 2) мы не думаем, чтобы естественный рост «деревни» задерживался «тенденцией» северо-восточного крестьянина жить непременно в таком карликовом «хуторе»; 3) мы не думаем, что северо-восточную деревню можно квалифицировать этим последним термином и игнорировать или отрицать ее прочные общинные связи, независимо от того, идет ли речь о черной или владельческой деревне; 4) мы не думаем, что механическое «укрупнение» деревни ее владельцами в XVI в. само по себе меняло хозяйственную физиономию деревни и свидетельствует о рационализаторской владельческой тенденции восполнить недостаток естественного ее роста и поставить на место стихийного трехполья новую хозяйственную «систему». Этот последний пункт разногласия, выдвигавшийся пока автором в превентивном роде, разрешим лишь за пределами типологического исследования — на материале четвертой и пятой глав, где С. Б. Веселовский намечает «этапы эволюции» селений и пытается выяснить «факторы процесса». К рассмотрению этой второй части работы С. Б. Веселовского и надлежит нам теперь обратиться.

Географический и статистический метод

Не будем особо останавливаться на прекрасных, потребовавших длительного, кропотливого и внимательного изучения разбросанного материала, списаниях митрополичьих и монастырских владений за XV—XVI вв. в главе четвертой (стр. 69—129). Заметим только, что автор, признав «невозможным» здесь «статистический метод», едва ли не слишком круто повернул к конкретно-повествовательному приему изложения, как бы игнорируя неустранимые у читателя элементы и статистического интереса к описываемым явлениям, вытекающие из всего предшествующего построения автора. В этом смысле едва ли целесообразно было взять за единицу изучения (и описания) «владение», «группы селений», а не отдельные селения: лишая описание стандартности, это подменяет основной предмет наблюдения, «селение», случайной комбинацией «селений», имевших каждое свою историческую судьбу.

В этом же смысле весьма существенную помощь читателю оказало бы лишь изредка применяемое автором сведение мно-

гочисленных цифровых показателей в таблицы как по отдельным селениям, так и по типам развития их, а, может быть, соответственно и расположение их описаний не по ничему не дающему географическому принципу, а по типологическому. Это было бы тем более существенно, что в главе пятой, посвященной обобщению этого большого сырого материала, автор не выдерживает пунктуальности в ссылках на предшествующее изложение, не всегда использует свои общие наблюдения, намеченные им в главе четвертой и, наоборот, вводит в итоги замечания, конкретной опоры для которых не имеется в четвертой главе. Таковы, например, оброненные автором мимоходом в главе четвертой замечания о слободчиках и «отдельных крестьянах» (а не о волостях и монастырях) как «пионерах земледельческой культуры» (стр. 120), вызвавшие столь резкую отповедь в редакционном предисловии, или о «сторонниках исконности и универсальности земельной общины» с советом им «продумать» описанные автором на стр. 107 факты, подвергшиеся той же участи, — замечания, не нашедшие себе ни места, ни развития в главе пятой. Таково, с другой стороны, глухое указание, дважды повторяемое в главе пятой, о быстром росте цен на землю «особенно в первой трети XVI в.» (стр. 131, 143), о чем не было речи в главе четвертой и чего автор никак не сопоставляет с рядом данных о платежах за земли в главе третьей, данных, которые так и остаются для читателя мертвым грузом. Подобного рода замечания с нашей стороны отнюдь не имеют в виду умалить капитальную ценность этой основной части исследования С. Б. Веселовского, которая является безусловно богатым вкладом для наших представлений о размерах и вариантах тенденций развития крупного привилегированного землевладения на северо-востоке в XV—XVII вв. Но надо и со всей определенностью подчеркнуть, что здесь мы имеем дело с развитием под защитой церковной оград.

Остановимся сначала на «этапах эволюции», намечаемых автором в главе пятой «уверенно», с тем, чтобы закончить попыткой разобраться в «факторах» и «условиях» этой эволюции, которые в главе пятой же автор освещает «только гипотетически».

Владельческое укрупнение селений

Как и можно было предполагать, волна исторических фактов, поднятых теперь автором, не пощадила его типологических построений. И в выводах главы пятой автору приходится считаться и иной раз бороться с их напором. В частности, и в установлении этапов автор не освобождается от гипотез, связан-

ных с типологической частью своей работы. Так, беря за отправной пункт середину XV в., автор вводит уже в характеристику «селения» два варианта: один — общераспространенный, другой — имеющий место «только при исключительно благоприятных обстоятельствах». Первый вариант соответствует типологическому построению и, в частности, сохраняет тезис, что «села невелики» и «с сельскохозяйственной точки зрения мало чем отличаются от окружающих (одно-трехдворных) деревень». Второй вариант, исключительный, отвоеван одним Суздальским ополем, где действительно существуют (стр. 108 и сл.) «более крупные селения с общими полями и содержанием скотины за пастухом» (стр. 131). Между этими вариантами, однако, лежит незаконченная гипотеза: в первом варианте «барщинная запашка уже практикуется, но занимает среди повинностей крестьян небольшое место». Это гипотеза, потому что для нее нет фактов в главе четвертой. Но она и не закончена, потому что о барщинной запашке и ее размерах в «более крупных селениях» автор никакого суждения здесь не высказывает.

Что мы видим в Суздальском ополье по приводимому автором описанию 1498 г. митрополичьих владений? Села от 15 до 53 дворов с ничтожным количеством мелких деревень вокруг некоторых из них. Но только ли здесь у автора такие «крупные» села? Нет. Вот не менее «крупные» села в Радонеже, Переяславском, Верейском, Дмитровском и Московском уездах: Добролюво — 16 дворов, Горки — 41 двор (стр. 105), Петровское — 41 двор, Борково — 20 дворов, Путилово — 28 дворов, Федоровское — 14 дворов (стр. 97), Троицкое — 18 дворов, Егорьевское — 36 дворов (стр. 82), Пушкино — 19 дворов (стр. 71). В чем отличие этих сел от сел, отнесенных автором ко второму варианту? Только в том, что вокруг них было больше таких же, как там, мелких деревень. О чем свидетельствует это различие? В первом случае — или о том, что предел вместимости села был уже достигнут и только еще началось отселение на сторону (и потому деревень кругом было так мало), или о том, что отселяться на сторону больше уже было некуда. Во втором — или о том, что здесь было еще и еще куда отселяться на сторону (и потому деревеньки росли, как грибы), или о том, что предел был достигнут и в том и в другом отношении. Как бы то ни было, но различия с «сельскохозяйственной точки зрения» у всех этих сел не видно, пока это не будет опровергнуто фактами. В самом деле, какие возможности открывались и там и там относительно «общих полей»? Одинаковые. Относительно барщинной запашки — одинаковые, относительно «правильного» трехпольного оборота,

который автор уже приписывает второму варианту, — тоже одинаковые. А тогда «исключительно благоприятные обстоятельства» не приходится связывать с Суздальским ополем, и второй вариант характеристики северо-восточных селений для XV в. можно будет восстановить в полных равных правах с первым, допуская и целую гамму средних и переходных сочетаний уплотненности заселения села и разуплотненности заселения окружающего его деревенского царства.

Так обстоит дело с «отправным пунктом» подытоживаемой эволюции. Перейдем ко второму и центральному ее моменту, к «укрупнению селений». Оно становится «заметным» со второй половины XV в., оно становится «повсеместным» — «с течением времени» (не забудем, что это «повсеместно» должно относиться только к крупной церковной вотчине). Их два вида: одно «вследствие естественного роста населения», другое «за счет» соединения землевладельцем 2—3 селений в одно (см. выше: второе было «чаще всего»). XVI век в этом отношении представляет два этапа: первая половина, отмеченная «хозяйственным подъемом всего Замосковья», и вторая половина, отмеченная кризисом и «умношением населения».

В определении первого этапа у автора неясность: и «владельческое» и «естественное» укрупнение идут здесь, по его словам, «одновременно», но владельческое, кроме того, идет «и на почве естественного роста населения». Хотел ли здесь автор выразить ту мысль, что «соединять» мелкие деревни побуждал землевладельца рост населения? Но такая связь непонятна без дальнейших пояснений. На втором этапе владельческое укрупнение становится «самостоятельным явлением», «политикой землевладельческого класса» (точнее, пожалуй, сказать: политикой церковного сельскохозяйственного предпринимательства) «независимо от прироста населения».

Эта концепция проблемы укрупнения селений, независимо от степени соответствия ее источникам, какие здесь имеет в виду автор, вызывает вопрос: в каком положении было дело с укрупнением селений на северо-востоке до того момента (конца XV в.), как оно стало «заметным» для автора в этих источниках? Отвести этот вопрос посредством простого *non liquet* едва ли возможно хотя бы уже по одному тому, что в таком случае начинать укрупнение с конца XV в. пришлось бы со значительным грузом тех самых «крупных» селений, к которым как к пункту конечного исторического назначения эта концепция устремляет все прочие наличные к концу XV в. селения. Не являются ли эти наличные «крупные» селения признаком того, что в конце XV в. мы застаем интересующий нас процесс

на ходу? А тогда и специфические признаки эпохи, вроде хозяйственного подъема Замосковья, с которыми эта концепция ставит в связь свой первый этап владельческого укрупнения, должны быть выведены из всего построения как силы, якобы двинувшие этот процесс. В самом деле, у нас нет основания отрицать вообще прирост населения в междуречье ни на протяжении XV в., ни в XIV в., которому должно быть посвящено исследование автора в той же законной и полной мере, как и XV и XVI вв. Делая поправку на возможные неоднократные за это время массовые и стихийные прорывы в этом росте, не приходится игнорировать каждый такой раз стихийное же и, судя по общему ходу развития хотя бы Московского великого княжества, быстрое заполнение этих прорывов. А в таком случае, как можно представлять себе влияние этих приливов роста населения в междуречье на состав и размер наличных старых точек поселения?

Рост населения мог направляться и в сторону заполнения и последующего укрупнения старых мест поселения, и в сторону заполнения до прежней нормы старых и последующего приселения в новых, минуя укрупнение старых. Априори нет ничего невозможного в том, что развитие могло идти по второму пути, и тогда концепция автора действительно начала бы новый этап в судьбах северо-восточных селений. Но если развитие шло первым путем или комбинированным, тогда поставленный нами выше вопрос не может быть снят простым отводом. Мы думаем, что некоторые намеки в источниках для, конечно, неполного освещения этого вопроса могли бы найтись.

Возвращаясь к концепции автора, оставим в стороне вопрос об укрупнении селений в силу естественного роста населения: для первой половины XVI в. рост населения не подлежит спору, и там, где он доходил до предела вместимости селений и превышал его, он и на частновладельческих землях должен был вести и вел к актам разукрупнения их. Приведем хотя бы пример, кажется, не замеченный и во всяком случае не отмеченный автором, из практики того же Троице-Сергиева монастыря, с укрупнительной политикой которого преимущественно и приходится иметь дело на страницах труда С. Б. Веселовского. Это сельцо Семеновское в Верхдубенском стачу Переяславского уезда, имевшее в 1592 г. всего 8 крестьянских дворов и 28 четей пашни паханной в поле. Но раньше оно было гораздо больше: сейчас в нем было сверх того «51 место дворовых пустых». Это сельцо-гигант не выдержало в свое время такого укрупнения до 59 дворов, и тогда была «из того ж села вынесена деревня Рогачово»; теперь в ней было 16 крестьянских

дворов, из коих ни один не запустел.¹⁶² Аналогичный эпизод имел место и во Владимирском уезде, в Багаевской волости, в одной из деревень триицкого же села Крутец. Само село было церковно-административно-хозяйственным центром для приписанных к нему 6 крупных деревень: в нем жил приказчик, жило 5 бобылей и стоял двор коровий, а пашню 65 четей пахали, вероятно, деревенские крестьяне. Каждая же деревня имела около 20 крестьянских дворов. И вот одна из них, «Старая Яковлева» на р. Берексе, не выдержала такой нагрузки, и из нее «выставилась» «на той же земле», на р. Клязьме, деревня «Новая Яковлева», причем в момент расселения в новую ушло 11 дворов, а в старой осталось 12: из них теперь в старой один двор запустел, в другом жил бобыль, а в новой запустело 2 и в одном жила бобылиха.¹⁶³ Не считая подобных эпизодов признаками какого-либо хозяйственного регресса и усматривая в них лишь примеры приспособления вотчинника или крестьян, — все равно, — к местным условиям, мы не думаем, чтобы подобных случаев нам не встретилось и на дворцовых землях царя и князя великого, если бы описания их дошли до нас в таком же количестве, как и монастырские. Но мы думаем также, что и при оценке концепции С. Б. Веселовского необходимо различать случаи такого владельческого укрупнения селений, когда речь шла о приспособлении к местным условиям при личном техническом и производственном уровне хозяйства, от случаев, когда речь шла о выведении хозяйства на новую ступень в техническом или производственном отношении.

Рассмотрим с этой точки зрения факты, собранные автором в главе пятой. Их 7, но они неоднородны с указанной только что точки зрения. Собственно укрупнений, при которых можно заподозрить мотив увеличения владельческой запашки в составе «сельской» пашни, только 2: в селе Петровском Ижевского стана Дмитровского уезда перед описанием 1537 г. 4 деревни были «припущены в поле» к селу и в селе Буженинове в 1562 г. то же было сделано с 3 деревнями. Судя по описаниям 1590-х годов монастырской пашни в них было: в первом — 44 четьи в поле, во втором — 113 четей.¹⁶⁴ Сдвигало ли это вопрос о монастырской запашке в момент укрупнения с мертвой точки или только позволяло увеличить несколько ее размер против прежнего — судить у нас нет данных. Но смысл этих операций может быть истолкован в плане владельческой запашки. Что же касается прочих 5 случаев

¹⁶² ПКМГ, ч. 1, отд. 1, стр. 820.

¹⁶³ Там же, стр. 789, 790.

¹⁶⁴ Там же, стр. 771, 817.

укрупнения, то в них мы имеем дело со «сдваиванием» и «страиванием» отдельных мелких деревень, за одним исключением, где вообще деревни к моменту операции были среднего размера. Не сомневаемся, что число последнего рода фактов можно и увеличить.¹⁶⁵ Но это все факты иного рода, чем первые четыре, и, главное, мы не знаем, всегда ли централизованная инициатива шла от монастырских властей или здесь было и не без крестьянского почина. Мало отдать справедливость автору, что он сам же предостерегает от «преждевременного обобщения» этих фактов и подчеркивает, что «в зависимости от местных условий» наряду с укрупнением «продолжается (в первой половине века) возникновение деревень-хуторов старого типа» (стр. 132). Но мы, кроме того, не считаем возможным оперировать против концепции автора и несколькими нейтральными примерами развития монастырских владений, которые можно бы собрать в главе четвертой. При таких численно скудных данных нет места аргументам от количества случаев. Зато и случаи укрупнения не приходится возводить в систему. А если так, то и искать некоей общей даты для хотя бы зачатков развития процесса укрупнения селений, помимо естественного их роста, в конце XV в. нет оснований, как нет оснований и противопологать (как к тому, кажется, склонен С. Б. Веселовский) этот процесс и находимые автором факты укрупнения фактам и процессу возникновения (в порядке заселения и распаивания новин) починков и из них деревень на первых порах естественно мелкого типа, который автор напрасно называет хуторским. Хуторская теория для XIV—XV вв. и дала себя знать здесь в попытке противопоставить хуторской лавине плотину в виде владельческого укрупнения селений. Осторожно делая оговорку относительно «общности» подмеченного им явления, автор все же придает ему значение не отдельных случаев, а начавшегося «процесса» и, переходя ко второму его этапу, исходит из мысли, что он, этот процесс, продолжал бы развиваться и дальше «при нормальных условиях», если бы «не был дважды прерван» — сначала кризисом третьей четверти XVI в., а затем «событиями первых двух десятилетий XVII в.».

Кризис третьей четверти XVI в.

Когда С. Б. Веселовский переходит затем к характеристике кризиса третьей четверти XVI в., читатель, естественно, на-

¹⁶⁵ Например, см.: С. Шумаков, ук. соч., вып. 1. М., 1902, стр. 131: в селе Ермолинском Конюшского стану Переяславского уезда в сотной 1544 г. «снесены вместо» 6 деревень, что дало поселенче в 17 дворов.

деется найти в ней такие черты, которые и показали бы губительное действие кризиса на процесс владельческого укрупнения селений в недрах церковного хозяйства и землевладения, — а находит нечто обратное. Военное положение на трех фронтах, перебор «людюшек» и земельных владений в опричнине, землевладельческая паника, выразившаяся в «катастрофическом характере» роста земельных вкладов в монастыри на «устройство души», так что за десятилетие 1570—1580 гг. «монастыри получили не меньше, а иногда и больше вкладов, чем за целое столетие, предшествовавшее этому отрезку времени», «разброд крестьян» из «бесхозных» конфискованных, но не сразу попадавших в руки новых помещиков владений, выразившийся в том, что «крестьяне массами бросали свое хозяйство и разбегались в соседние монастырские и церковные владения, в дворцовые села или уходили из уезда совсем», — словом, кризис бьет крестьянина на их землях, к вящему приумножению монастырских владений и к вящему их заселению. Автор не забывает, конечно, и «посох», и эпидемий, и климатических катастроф, но это общий коэффициент, который надо вывести за скобки, а в скобках все остается на долю крупного церковного вотчинника, которому соборными приговорами 1580-х годов было поставлено некоторое ограничение в момент, когда, в сущности, он собрал уже все, что было можно, с поля острой классовой борьбы. Во всяком случае с наступлением с 1583—1584 гг. «относительного спокойствия и медленного оздоровления», ножницы между миром церковного землевладения и всем, что лежало вне его, разошлись так, что теперь говорить о каком бы то ни было «укрупнении» селений на основании церковных фактов в сколько-нибудь общем, повсеместном масштабе не приходится вовсе. А факты, которые наблюдает автор в описаниях 80—90-х годов, двоякого рода.

Одни факты — это факты как бы лабораторного типа развития монастырских и митрополичьих владений за XVI в., слабо испытавших на себе универсально-отрицательные стороны кризиса, — развития, протекавшего как бы в «нормальных» условиях и не прерывавшегося извне. Таковы костромские и ярославские владения Троицкого и Ипатского монастырей и митрополичьи, описанные автором на стр. 118—129.

Троицкие владения в Костромском уезде образовались еще в XV в. из нескольких боярских и княжеских вкладов, в основе которых лежало 4 села: Федоровское, Поемечье, Кувакино и Марьянское, все в Нерехотской волости, и к концу XVI в. образовали там почти сплошную латифундию. Сохранившиеся от 30—40-х годов XVI в. описания представляют в них «известную градацию в процессе укрупнения селений»: Федоров-

ское — уже крупное село в 27 дворов, достигшее своего предела вместимости и остановившееся в росте, окружено было 15 деревнями (от 2 до 27 дворов), в известной очереди подтягивавшимися к дворовой норме своего центра (2—3—4—5—8—9—12—15—24—27); Поемечье, его сосед, зажатый со всех сторон чужими вотчинами, доросло до 13 дворов и успело обзавестись только 2 карликовыми деревеньками по 2 двора, не устоявшими в дальнейшем вихре событий; Кувакино с его 9 дворами само было скромнее, зато вокруг него росло, подтягиваясь к его норме, 24 деревеньки в 1—8 дворов, с преобладанием двух-четырёхдворного типа; и, наконец, Марьинское стало уже на линию крупного села (19 дворов, из них 6 непашенных), далеко оторвавшись от своего многочисленного деревенского молодняка из 10 деревень в 1—3 двора. По счастливому наличию подробного описания этой выразительной коллекции поселенческих типов в 90-х годах мы имеем возможность проследить, как при известной сходственности основных факторов, на протяжении 50 лет выравнивались результаты развития столь разнотипных групп селений в благоприятной обстановке, за стеной троицких привилегий. К сожалению, сопоставление данных обоих описаний смонтировано у С. Б. Веселовского слишком суммарно и глухо, а данные первого описания не опубликованы. Сопоставление это привело автора к выводу, что (1) эти владения «не переживали в последней трети XVI в. никакого кризиса и развивались вполне нормально» и что (2) мы имеем здесь «факт сокращения количества селений и значительного укрупнения их» (на одну деревню стало в среднем дворов: в федоровских 19 вместо 10, в марьинских 10 вместо 2, в кувакинских 10 вместо 4, в поемецких 0 вместо 2). Мы думаем, что в первом выводе у автора есть одна ошибка (что развитие здесь шло «вполне нормально»), второй же вывод, верный сам по себе, формулирован неполно и затушевывает, не вскрывает и не выдвигает основного факта в развитии этих владений. Присмотримся к скудным данным автора и попытаемся несколько иначе сопоставить их с опубликованными данными описания 1592/93 г.¹⁶⁶

Поразительный основной факт здесь не в увеличении средней поддеревенской цифры дворов, а в увеличении абсолютной цифры дворов как по отдельным деревням, так и по владениям в целом, и не только в увеличении цифры жилых дворов на 1592 г., когда она несколько упала, а в уровне зенитных цифр, достигнутых этими владениями где-то на полпути между из-

¹⁶⁶ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 893—903.

вестными нам датами описаний. Для части федоровских владений сопоставление может быть дано наглядно (табл. 2).

Таблица 2

Наименование селений ¹⁶⁷	Число дворов		Пашня паханная, в четвертях	Перелог, в четвертях
	1536 г.	1592/93 г.	(1592/93 г.)	(1592/93 г.)
Село Федоровское . . .	27	27	180, (монастыр- ская), 60 (кресть- янская)	
Дер. Юрина	27	31 + 15	100	90 + 70
„ Боглаева	24	31 + 11	125	60
„ Богдан	15	28	90	
„ Добрейцево	12	31	115	
„ Гилево	9	23 + 5	100	20 + 10
„ Холомеева	8	16	80	
„ Молокова	(5)	11	25	5
„ Старая	(4)	6	25	5
„ Высокая	(4)	7	25	
„ Красная Слобода .	(3)	30 + 6	120	10 + 18
„ Волосова	(3)	7 + 1	30	

Что говорит эта таблица прежде всего о владельческом укрупнении селений за счет «сносения вместе» отдельных деревень? Эта участь постигла только 4 — и мы не знаем, каких именно, — из тех 9 мелких деревень, которые приведены у автора без имен на стр. 120. Предполагая среднее, т. е. что в снос пошли не самые мелкие (по 2 двора) и не самые крупные (по 5 дворов), сочтем сношенными по одной каждого типа (2—3—4—5-дворного), всего 14 дворов. Очевидно, что это капля в море при общем увеличении первоначальной суммы со 128 дворов до 259 дворов в зенитную пору (221 в 1592/93 г.). Но можно, кажется, предполагать еще и то, что «снос» этот произошел ближе к исходному моменту этого бурного процесса роста, и при этом опираться не только на ничтожность цифры сносимых дворов, но и на то, что в момент описания в 1592/93 г. память об этом акте исчезла, и писцы, которые иной раз отме-

¹⁶⁷ В первой графе цифры дворов, взятые в скобки, поставлены условно, так как автор не дает названий мелких деревень, а дает только цифру деревень каждого дворового размера; относя на уничтоженные четыре деревни по одной деревне каждого размера, остающиеся мы и разносим условно по оставшимся мелким деревням. Во второй графе цифры со знаком + означают опустелые к 1592/93 г. дворы и места дворовые. В последней графе цифры со знаком + означают пашню, лесом поросшую.

чали «припуски» и «сносы», имевшие 30-летнюю давность,¹⁶⁸ в нашем случае такой отметки сделать уже не могли. Иными словами, естественный рост и сверхъестественный наплыв населения сбили и во много раз перекрыли начавшееся было владельческое укрупнение в федоровской вотчине, причем, судя по соотношению пашни и перелoga и цифр прибыли и убыли дворов на 1592/93 г., довели уплотнение селений до крайнего напряжения.

Обращаясь теперь к общим показателям по всем четырем владениям в совокупности, мы видим колоссальное увеличение населения в них за истекшие полвека: в Федоровских на 72% (128—221 двор в 15—11 деревнях), в кувакинских на 36% (95—129 дворов в 24—13 деревнях), в марьинских на 95% (40—78 дворов в 19—8 деревнях). Только село Поемечье в силу географического положения заняло здесь особое положение и, потеряв свои 2 деревушки, в три приема — в 1549, 1572 и 1580 гг. — ассоциировало себе дарения частных вотчинников в виде 2 селец и 9 деревень в составе 60 дворов, из коих 3 деревни запустели и 1 была припущена в пашню к сельцу. Само же Поемечье подняло свою цифру дворов с 13 только до 15 дворов. Указанное для прочих трех владений процентное увеличение, однако, не выражает того максимума, до которого доходила цифра населения этих владений в течение полвека. В описании 1592/93 г. налицо значительный спад против того, чего достигало здесь увеличение населения ближе к середине полвека, и опустелые дворы в 1592/93 г. имелись не только в федоровских деревнях. Зенитные цифры дворов будут такие: для федоровских деревень 259 вместо 128, для кувакинских 154 вместо 95, для марьинских 87 вместо 40; и соответственно выразятся и проценты прироста дворов: 100%, 62%, 117% меньше чем за 50 лет. Что же касается собственно центральных сел, то рост их дает пеструю картину, которая, однако, приобретает ровный характер в его результатах: Федоровское оставалось все это время при своих 27 дворах (увеличение 0%), Кувакино вместо 10 стало 32 (к 1592 г. 25; максимальное увеличение на 200%). Поемечье — 47 вместо 13 (к 1532 г. 14; максимальное увеличение больше чем на 200%), Марьинское — 39 вместо 9 (к 1592 г. 29; максимальное увеличение более чем на 300%). Об обстоятельствах исчезновения старых деревень, времени

¹⁶⁸ См. на стр. 101, 102 разбираемой работы пример с припуском в пашню пустошей и деревень к селу Буженинову и его деревням в сотной 1562 г. и точно такую же отметку, повторенную в описании 1592/93 г. (ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 816—817). Аналогичный случай на стр. 103 и в ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 844 и сл.

припуска их к оставшимся и тому подобном мы ничего не знаем, за исключением Марьинского села, в котором операция эта совершалась, надо думать, позднее, чем в остальных. Само оно, разумеется, выросло на свои 300% не за счет той однодворной деревни Юркиной, которая была «припущена» к нему в пашню перед описанием 1592/93 г. Кроме этого, нам известны 4 припуска в пашню к деревням: в первом случае одной пустоши, в другом — одной деревни (результат припуска — 19 дворов), в третьем — 2 деревень (результат — 16 дворов), в четвертом — 3 деревень (результат тот же). Наряду с этим, однако, до 1592 г. дожили и деревни по 4—5 дворов. Во всяком случае, если мы имеем и в остальных случаях соединение и соединение именно деревень, а не припуск пустошей, все же возможные эффекты таких укрупнений во много раз перекрывались общим бурным ростом населения и, вероятно, в свое время носили характер скромного приспособления к местным условиям. А в конце концов и к 90-м годам в результате мы имеем здесь крайнее разнообразие размеров деревень от 2 до 29 дворов.

Прочие описанные у С. Б. Веселовского владения по Костромскому уезду для второй половины XVI в. дают ровную картину роста количества деревень и крестьянских дворов, без каких-либо признаков владельческого укрупнения деревень (стр. 123—127). Аналогичная картина и с троицким селом Коприным в Ярославском уезде. Таким образом, в случаях, когда мы можем наблюдать за судьбой монастырских и церковных владений, не затронутых кризисом, мы не видим и «перерыва» в процессе их естественного роста, подправляемого в иных весьма редких случаях и сравнительно малоэффективным соединением деревень, т. е. имеем ту же индивидуализированную картину, следы которой заметны и в документах первой половины века: этапов здесь наметить нельзя. Только наш описанный подробно выше костромской случай «нормальным», разумеется, считать никак нельзя: перед нами здесь совсем сверхъестественный массовый прием новоприходцев, почти полностью ликвидировавший перелог и требовавший такого перегруппирования пашенных и иных угодий, которое делало необходимой и перегруппировку селений. Об искусственном укрупнении их заботиться здесь уже не приходилось, а вопрос стоял о приспособлении культурной площади для удовлетворения массой стекавшихся сюда крестьян.

Другого рода факты, выдвигаемые автором для характеристики второго этапа изучаемого процесса, — это «факты определенной владельческой политики сосредоточения крестьян из пустевших деревень в оставшиеся жилые», когда «владельческое укрупнение селений происходило, несмотря на значительную

убыль населения» (стр. 140). Автор, однако, не считал нужным в главе пятой выделить и собрать в выразительном виде подобного рода случаи, глухо ссылаясь для примера («напр.») на владения Киржацкого монастыря в Переяславском уезде (описанные в главе четвертой на стр. 103) и, в сущности, предоставляя читателю производить самому поиски аналогичного материала в массе разнородных фактических данных предшествующей главы. Исключение автор сделал в главе пятой только для иллюстрации «еще более энергичной меры» (чем простое укрупнение?) — «соединения двух жилых селений». Приводимый автором (на стр. 141) случай, таким образом, должен показать не консервативное по существу стремление склеить из двух редяющих селений одно, прежнего масштаба плотности, а шаг вперед в распоряжении рабочей силой своих крестьян. Но эта единственная попытка С. Б. Веселовского дать в этой связи конкретную иллюстрацию своей концепции едва ли убедительна. Дело в том, что случай этот и не факт, а догадка по поводу двух цифровых показаний относительно двух селений Троицкого монастыря — села Мячкова и деревни Бунково, от 1563 г. и от 1593 г. Показания эти автор передает так: в 1563 г. в Мячкове было 9 дворов, а в Бункове — 4 двора, в 1593 г. Бунково было пусто, а в Мячкове оказалось 13 дворов. Отсюда догадка: «Мячково увеличилось за счет населения Бункова», — основанная явно на совпадении приводимых автором цифр. Но, во-первых, это не «соединение» двух селений: в 1593 г. деревня Бунково по-прежнему существовала отдельно от Мячкова, стояла по-прежнему на своей р. Чернявке, а не на р. Богане, где стояло Мячково, при ней было 3 чети пашни паханной монастырской в поле да перелогу 40 четьи, сена монастырского там косили 55 копен, и — еще лучше — все 4 крестьянских двора стояли во всей неприкосновенности, только «пусты». Если бы монастырским властям, действительно, когда-нибудь пришла мысль (не соединить два селения, а даже только) перевести 4 крестьянских семьи с насиженного пепелища на новое место, то за крестьянами, вероятно, последовали бы в снос и их дворы: но именно дворы, а не «места дворовые пусты», как обычно выражались в таких случаях писцы, остались в Бункове на прежнем месте. Мы думаем, таким образом, что в описании 1593 г. нет следа не только что «соединения», а даже и простого переселения людей. Тем более — во-вторых — что и цифры, на которых построена догадка С. Б. Веселовского, не совсем таковы, как их представляет себе автор: в Мячкове в 1593 г. было не просто 13 крестьянских дворов, т. е. предполагаемая соблазнительная сумма 9 старых мячковских и 4 новых бунковских, по догадке автора, а кроме

того, было, и 2 крестьянских «двора пустых». В связи с приведенными хозяйственными и бытовыми соображениями эти 2 пустых двора лишают факт-догадку автора и видимости основания. И нам приходится обратиться к иным примерам, в которых, как полагает С. Б. Веселовский, «мы наблюдаем, несомненно, последовательную политику перевода крестьян из пустеющих деревень в жилые» (стр. 140).

Обратимся к тому, на который глухо ссылается сам автор, — к владениям Киржацкого монастыря в Переяславле. Описание этих владений, произведенное в 1592 г., застигло их в значительно запустелом состоянии. Ни о каких хозяйственных начинаниях новаторского типа при таком положении вещей и речи быть не могло. Однако, читая это описание, выносишь определенное впечатление: монастырские власти зорко следят за тем и пока только за тем, чтобы по возможности не дать замереть ни одной хозяйственной точке на этой площади, когда-то вмещавшей до 600 крестьянских дворов. На ней 7 административно-хозяйственных центров — сел и селец; за исключением главного села, сохранившего свои 43 двора, и селец Бельцы и Кипрей, сохранивших свои 10 и 7 дворов, остальные претерпели заметную убыль крестьянского населения. В Тутолмине, например, осталось только 8 жилых дворов, а от остальных 16 остались только «пустые места», сельцо Орлово, в пору расцвета образованное из «сносения» одной деревни и одного починка, потеряло все бывшие в нем 3 крестьянских двора, сохранив лишь следы их «мест», но и сохранило двор монастырской и коровенной, и поддерживало свои 25 четьи «пашни паханой монастырской крестьянского десятичного паханья», как сохранило ее и Тутолмино в количестве 192 четей; сохранило ее (77 четьи) и сельцо Халино, оставшееся при 13 населенных крестьянских дворах и 15 местах дворовых; не замерло окончательно и сельцо Желдыбино, оставшееся при 28 местах пустых дворовых, но и сохранившее монастырский двор и один двор детенышев.¹⁶⁰ На 17 плотно заселенных деревень (от 3 до 11 дворов, с преобладанием мелких) только в 3 из них было всего лишь по одному пустому двору, зато прочие 60 деревень запустели начисто, не сохранив и следов дворовых мест. Но 45 пустошей из этих 60 все же имели пашню паханую, распахивавшуюся из найму наездом, а запеложенные остальные 15 пустошей были равномерно и, думаем, планомерно намечены при каждом сельце, по 2—3 пустоши. Из 17 деревень 11, в 61 двор, были при сельце Орлове — и понятно: в нем самом совсем не было крестьян. Соби-

¹⁶⁰ ПКМГ, ч. I, отд. I, стр. 841—849.

рая подобные наблюдения, можно поверить, что за всем этим стоял некоторый план: 1) обслуживания владения рабочей силой и поддержания на традиционном уровне крестьянских селений, которые решено было сохранить, и 2) решительного запустошения тех деревень, которые решено было временно законсервировать. Это последнее обстоятельство знаменательно, и сохранение 60 пустошей в неприрученном к жилым деревням виде, хоть их и занимали для пашни те же крестьяне, не очень свидетельствует об «укрупнительных» тенденциях монастырского аппарата. Не свидетельствует о них и сопоставление данных 1592 г. с данными описания тех же владений от 1562 г. Из этого сопоставления явствует только, что за истекшие 30 лет кризис снес 441 крестьянский двор, 3 погоста, 2 сельца и 16 деревень, и снес их бесследно, 60 же деревень за это время обратились в пустоши, сохранившие, однако, свое значение комплекса угодий в полной мере. Средняя же цифра населенности деревни почти одинакова: для 1562 г. 5 дворов и для 1592 г. $5\frac{1}{2}$ — разница, которая теряет значение при том, что колебание деревенской цифры дворов для 1592 г. в 3—11 покрывается показателем 1562 г. в 1—13.

Итак, этот второй пример, приводимый автором для характеристики положения с вопросом об укрупнении селений в результате и под действием кризиса второй половины XVI в., свидетельствует лишь о том, что внутри владения, и не нарушая сложившейся системы и размеров поселений, монастырский аппарат не останавливался, может быть, перед частичным перераспределением населения, чтобы, говоря словами автора же (стр. 104), «целесообразнее и удобнее поддерживать сложившийся строй хозяйства и землепользования». Но такая хозяйственная «политика», разумеется, не является монополией XV—XVI вв. и ничего общего не имеет с какой-либо рационализацией хозяйства в том смысле, как то разумеет С. Б. Веселовский.

Мотивы «владельческой политики»

Переходя к вопросу о «мотивах» «владельческой политики» укрупнения селений уже независимо от двух ее этапов, автор сейчас же и встречается с трудностью, вытекающей из указывавшегося нами выше неразличения с самого начала двух видов укрупнения: укрупнения сел и укрупнения деревень. При всей «склонности» его видеть «главную причину укрупнения селений» в «росте владельческой запашки» ему теперь приходится «признать», что сосредоточение запашки в сельских полях было больше всего вопросом технических удобств обра-

ботки земли и само по себе вовсе не предreshало вопроса об укрупнении селений» (стр. 141). Совершенно справедливо автор теперь только отмечает, что сдваивание и страивание мелких «деревень» «не имело никакого отношения к образованию сельского поля». Но и тут расчлнить эти два разнородные и, как можно думать, одновременные явления автор отказывается, и «развитие владельческой запашки» все же остается у него «одним из мотивов укрупнения селений» (а не мотивом одного из укрупнений) и «даже, быть может, не самым главным» (стр. 142; для деревенского же укрупнения, по нашему, и никаким, — Б. Р.).

К некоторому удивлению читателя, автор, далее, ищет и находит «основу» политики, следы которой ему изредка удавалось показать в материалах и обстановке церковной крупной вотчины — в «изменении характера частновладельческого хозяйства вообще», которое в XIV—XV вв. «носило характер кормлений», а кормления со второй половины XV в. «как способ обеспечения служилых людей начинают перерождаться в поместья». Самая мысль о «перерождении» кормлений в поместья требовала и разъяснения и обоснования в данной связи, равно как и дальнейшее утверждение, что «только в XVI в. центр тяжести поместного владения переносится с готовых доходов (с бывших доходов наместников и волостелей) на собственное хозяйство помещика» (стр. 142; разрядка наша, — Б. Р.). Выходит так, что явление, с трудом и спорадически констатируемое в сфере крупного и вотчинного хозяйства, имеет свою «основу» в сфере мелкого и прекарного землевладения.

Вся эта концепция остается, однако, дальше без применения, потому что автор тотчас вслед за тем возвращается к собственной земледельческой запашке, и церковные владения вновь выступают на первый план, потому что на них именно «в XV в. рабский труд не применялся совсем», и церкви «об организации труда крестьян» пришлось подумать раньше других. На пути «более интенсивной эксплуатации крестьянского труда» (на владельческих сельских полях?) у автора здесь опять становится помехой «мелкая разномерная деревня»: но ведь только что им было установлено, что сдваивание и страивание ее «не имело никакого отношения к образованию сельского поля». В частности, он усматривает «отрицательную» (с владельческой точки зрения) сторону мелкой деревни в том, что к ней неприменимы были «нормы оклада и надела»: но автор сам же показал их возникновение в крупных дворцовых и церковных владениях в конце XV—начале XVI в., и дальнейшее применение их вовсе не связано у него с ликвидацией

мелких деревень, хотя бы даже «в пределах этих владений раньше они были применены в крупных селениях».

Сколько бы ни обнаружил автор подобного рода «мотивов» и каковы бы они ни были, перед ним все же стоит «неуверенность и разнобой в политике землевладельцев в этом вопросе ... во второй половине XVI в.» (стр. 144). Этот разнобой и неуверенность он усматривает в одновременности как «интенсивного укрупнения селений и развития владельческой запашки», так и «сохранения селений старого типа и даже возникновения новых мелких деревень» и ищет объяснения им в «сложной обстановке», в какой «происходили развитие владельческого хозяйства и связанное с ним укрупнение селений». Из элементов этой обстановки, указываемых здесь автором, все увлекали владельческое хозяйство к производству на сбыт и неуверенности и разнобоя вносить не могли, за исключением одного, которым и остается объяснять разнобой и неуверенность владельцев: это «борьба в среде землевладельческого класса» за рабочие руки, приведшая к указам о заповедных годах. Однако, какое отношение эта борьба имела собственно к вопросу об укрупнении селений и к колебаниям в этом вопросе, автор не разъясняет вовсе. Мы, со своей стороны, не видим здесь ни разнобоя, ни неуверенности, потому что не видим здесь и двух «политик» и противоречия между развитием владельческой запашки и спорадическими текущими случаями укрупнения отдельных сел и деревень, с одной стороны, и сохранением деревень старого типа и называнием и свозом крестьян по одиночке для разработки новых земель, с другой. Мы не видим также и никакой отрицательной связи между случаями укрупнения селений и бешеной борьбой за рабочие руки. И это потому, что для того, чтобы увидеть это противоречие и эту связь, надо принять массовую крестьянскую склонность к хуторам, с одной стороны, и такую же массовую тенденцию у крупного землевладельца к рационализации своего хозяйства посредством систематического укрупнения как сел, так и деревень, с другой. Лишь в таком случае и борьба за рабочие руки «в среде землевладельческого класса» возымеет отношение к проблеме, породит «неуверенность» у крупного землевладельца и поведет к «разнобою», надо полагать, из боязни, как бы вопрос о способе поселения мелких хуторком не явился равновесом в междувладельческой борьбе за поселяемого крестьянина.

Намек именно на такую трактовку вопроса, кажется, приходится видеть у автора в его заключительном замечании, что «огромное большинство рядовых служилых землевладельцев, сидевших в своих небольших вотчинах и поместьях, было

слишком слабо экономически, чтобы заводить производство на сбыт и заниматься реорганизацией селений» (стр. 144). Но мы затрудняемся и в этом частном вопросе согласиться с С. Б. Веселовским и именно в той части этого замечания, которая касается помещичьего занятия реорганизацией селений, если под последней понимать то, что разумел автор на всем протяжении разбираемого труда: т. е. простой припуск в пашню к селам и деревням пустошей и деревень. Явление это не так уже редко можно наблюдать, например, по писцовой книге Вяземского уезда конца XVI в. именно на поместных землях.¹⁷⁰

В таком виде процесс укрупнения селений едва ли и «прерывался» заметно когда-нибудь на протяжении не только XVI, но и XV и XIV вв., за исключением случаев или более или менее полного хозяйственного замирания данного владения, или более или менее полной его хозяйственной благоустроенности, когда соотношение владельческих потребностей, конфигурации земельных угодий и расположения рабочей силы оказывалось на некоторое время в должном равновесии.

Обратимся, наконец, к характеристике второго, по счету автора, «перерыва» этого процесса «укрупнения» в 1600—1619 гг. и его влияния на дальнейшее течение процесса. Это было вторичное, но в еще больших размерах, чем в 1552—1582 гг., «разорение» и «сожжение» селений и хозяйств, обращение массы селений в пустоши, пораставшие за десятки лет лесом «в жердь и в кол» и даже «в бревно». Это было историческое избиение «преимущественно мелких селений», в котором «деревенские участки утратили свой комплексный сельскохозяйственный характер» и «была расчищена почва для устройства новых селений и новых хозяйств» (стр. 145). Значит, «хозяйственная реставрация» 1620 и следующих годов начинала новую эру в истории типов сельского поселения. Но здесь и существеннейший момент, от формулировки которого зависит и последняя оценка концепции владельческого укрупнения селений в XV—XVI вв. Формулировка же эта должна была бы ясно и точно опираться на сжатый анализ фактов, разбросанных в четвертой главе, прежде всякого иного действия. Однако и здесь автор свои общие суждения формулирует в полном внешнем отрыве от своих фактов.

Первое положение автора не подлежит спору, но и не вскрывает никакой новизны в реставрационной эпохе: естественно, что теперь «землевладельцы в первую очередь восстанавливают

¹⁷⁰ Там же, стр. 572, 594, 599, 620, 641, 656, 676, 681, 691, 706, 718, 741, 754 и др.

хозяйство и сажают крестьян в уцелевших селениях, а затем в тех, которые запустели недавно» (стр. 146). Никак иначе нельзя себе представить и всякий подобный восстановительный процесс после шквалов и в XV и в XIV и иных веках. Автор, однако, далее выставляет противоположение в этом отношении XVII века именно XV веку. Именно: «во второй половине XV в. землевладельцы предоставляли крестьянам селиться мелкими деревнями и рассекать и поджигать леса под пашню своими силами» — «теперь... землевладельцы стали совершенно иначе относиться к расселению крестьян в своих владениях». Такое противоположение нуждается в разъяснении не только в отношении XVII в., что автор вкратце и делает, но и в отношении XV в. Ибо, если автор хочет сказать, что в XV в. крупный вотчинник при восстановлении разоренной, — хотя бы в нашествие Едигея или во время борьбы Василия Темного за великое княжение, — вотчины своей был равнодушен к восстановлению в первую очередь своих сел и окружавших их деревень, какого бы размера они в данной местности ни были, и предоставлял дело совершенному самотеку или даже и не намечал слободчику района постановки слободского гнезда мелких деревень, то для такой картины нужны факты. Для XVII же века автор ограничивается только справкой о «низком уровне благосостояния крестьян» и их «бесправном положении», «чтобы показать», что теперь землевладельцы были «вполне свободны сажать крестьян и устраивать в такие селения, как им казалось наиболее целесообразным» (стр. 148). Между тем, только факты показали бы, как использовали в действительности землевладельцы это бесспорное право уже не в процессе реставрации старых населенных пунктов, а в процессе, как в XV в., заселения и разработки новин и разряжения тесных селений. Тогда противоположение XV и XVII вв. разъяснилось бы. Такими фактами автор, по-видимому, не располагает. И нам остается теперь обратиться к тем данным о судьбе описанных в главе четвертой владений, какие собраны там автором по документам первой половины XVII в. и остаются без употребления в главе пятой.

Прежде всего присмотримся к тем владениям, которые благополучно прошли через кризис XVI—XVII вв. (стр. 127—128). Дозоры 1617—1623 гг. устанавливают здесь следующие факты. В Костромском уезде вокруг села Федоровского в это время было то же, что мы видели, количество (10) деревень при уменьшившемся количестве дворов (162 вместо 221), Кувакино имело вместо 13—11 деревень и в них вместо 129—108 дворов, Марьинское с его 8 де-

ревнями сохранилось в прежнем составе дворов, и только Поемечье само уменьшилось в 2 раза: в Верхнем Березовце было 12 селений с 52 дворами вместо 11 селений с 34 дворами, село Буяково, имевшее в 1540 г. вокруг себя 26 деревень и 10 починков, пройдя через оба кризиса, в 1617 г. уменьшило количество деревень до 21, но и обзавелось новыми карликовыми починками по 2 двора каждый, да и деревни его теперь оставались тоже мелкими в 3—4 двора. Не менее выразителен и Ярославский пример: село Коприно не унывало и в 1592 г., при своих 45 деревнях и 167 дворах, понаставив 14 карликовых починков с 20 дворами, да и в 1623 г. ничуть не изменило своей физиономии, сохранив почти все деревни (58 вместо 60) и, очевидно, за счет развития починков, увеличив число дворов с 187 до 199. В нашей связи необходимо, при этом, отметить любопытный случай поселения уже в 1616 г. в двух карликовых запустелых деревнях при селе Буякове в одной двух, в другой одного крестьянина, все трое новопорядчики. А в остальном у автора не собрано никаких данных, чтобы судить, когда и на какие новые рельсы перейдет эта разновидность селений и владений, чтобы начать жить «на новых началах».

Перейдем к примерам владений, пострадавших за время второго «перерыва». Здесь довольно пестрая картина, и большинство владений дает примеры недореставрированных старых хозяйств. В общем их можно свести к трем типам.

Первый тип — это владения, вполне определившиеся в смысле намечаемых автором тенденций владельческой политики в XVII в. Таковы села Пушкино, Махабино и Карашская слобода.

Пушкино уже в конце XV в. — крупное село с 19 дворами и 15 деревнями, росло и обрастало мелкими деревнями вплоть до набега Девлета в 1571 г., когда вся округа его была сметена, а в нем самом на 1585 г. оставалось 17 дворов. Из «смуты» оно к 1623 г. вышло с 15 дворами и дальнейшую историю продвигало в качестве патриаршего села. На всей его площади в 1400 десятин и в дальнейшем до 1678 г. (далее наши сведения не идут) не было восстановлено ни одной деревни, уже в 1585 г. все записанные пустошами с пашней, лесом поросшей. К моменту реставрации за полвека, разумеется, на месте прежних деревень был сплошной лес, и патриарший двор мог свободно выбирать дорогу, по которой Пушкино и пришло к 1678 г. в виде сплошного поселения, не достигшего, однако, еще той цифры дворов (90), какая была разбросана по всей его территории в середине XVI в. (74). Но это и единственный столь чистый пример, притом патриаршего села.

С Махабиным картина значительно тусклее потому, что, дойдя к 1592 г. до 44 дворов своих и 26 дворов деревенских, дальше оно надолго запустело сплошь, и, начав реставрацию только в середине 30-х годов, не только не восстановило ни одной деревни, но до 1704 г. и само никак не могло подняться выше 25 дворов, а своих 26 деревенских дворов не воспроизвело и в своей собственной околице. Мы, таким образом, не знаем, не пошел ли бы его рост, если бы превысил старую цифру, в деревенскую периферию, и в какой масштаб выливались бы эти деревни — выселки и приселки. Яркий пример быстрой и не педантической реставрации являла бы зато Карашская слобода в Ростовском уезде, только сравнивать здесь приходится уже очень далекие даты: 235 селений с 536 дворами 1501 г. — без каких-либо промежуточных показателей — к 1630 г. превращаются здесь в 42 селения с 450 дворами. Но это пример весьма условного значения, так как мы вовсе не знаем судеб владения за эти 130 лет и, в частности, не достигнуты ли были цифры 1630 г. уже в 1592 г., что в общем весьма вероятно: в этом случае значение примера в данной связи стало бы нулевым.

Второй тип — это примеры, наименее благоприятные для иллюстрации концепции автора. При этом иной раз приходится жалеть об отмеченной нами выше нестандартности авторских описаний, когда дело доходит до неопубликованных данных. Такова Илемна с ее в 1592 г. двумя крупными селами (13 и 25 крестьянских дворов) и 20 деревнями в 249 дворов. К 1614 г. одно село ее докатилось до 2 крестьянских дворов и церкви без пенья: а в каком положении по этому, вероятно, дозору находились прочие показатели? Автор их не приводит. О «последующей» же реставрации автор только то и сообщает, что (неизвестно, на какую дату) в Илемне «осталось 13—15 деревень, из которых 13 существуют и в настоящее время» (стр. 83). Нам же важно знать, было ли их 13 или 15, были ли это новые деревни или старые и каков был их дворовый состав, не говоря уже о дате документа. Если мы сочтем, что Илемна недореставрировала всего 5 деревень, скажем, к 1623 г., и что она возобновила 15 старых деревень с неполной реставрацией дворового их состава, — тогда мы будем иметь в политике монастырских властей погоню за восстановлением возможно большего количества деревенских точек хотя бы в ущерб их размеру и без всякой мысли о «реконструкции селений на новых началах».

Таково же и село Медна в Новоторжском уезде. В 1594 г. в нем было 23 крестьянских двора пашенных да 76 непашенных и 4 деревни по 8—9—4—7 дворов, перепись же 1616 г. показала некоторый незначительный, правда, уклон в сторону не центра-

лизации, а расползания мелких поселений: вместо 99 крестьянских дворов их оказалось 25, старые деревни одна запустела, прочие три сжались до 7—4—4 дворов, и прибыло 4 «отъезжие» деревни размер в 3—3—4—2 двора (стр. 94). Как и в случае с Илемной, относительно троицких владений в Воре и Корзене в е стану Московского уезда мы имеем дело с комканными данными. В писцовых книгах 1584 г. там значатся 11 сел и селец с 29 деревнями, причем сумма дворов дана общая, в итогах (242 двора), а о дальнейшем автор сообщает только, что с 1620 г. мы наблюдаем здесь хозяйственную реставрацию и, наконец, во второй половине XVII в. приблизительно тот состав селений, которые существуют в настоящее время» (17—18 селений, не то сел, не то деревень, стр. 98—99). Отчислив на круг для 1584 г. на села и сельца по 10 дворов, мы имели бы на деревню среднюю в 5 дворов: но на вопрос об укрупнении или измельчании селений после реставрации мы не можем ответить так же, как и для второй половины века, так как автор не дал (или не имеет сведений) ни деревень, ни дворов для 1620 г., ни дворов для второй даты XVII в.

По троицким владениям в Кинельском стану Переяславского уезда имеются более исправные данные. Владения эти в составе 21 селения с 151 двором в 1592 г. пострадали в «смуту», и в 1627—1630 гг. имели 16 селений с 93 дворами, как видим, с значительной пониженной средней дворов на селение (6 против $7\frac{1}{2}$), и в последующем не обнаружили тенденции к укрупнению их за счет сокращения числа селений, которые в почти полном ассортименте дожили до наших времен (стр. 100).

Село Бужениново того же уезда вошло в новую эру с уклоном к старинке: в 1592 г. в нем самом было 9 крестьянских и бобыльских дворов, при 12 жилых деревнях, к 1627—1630 гг. в нем не осталось ни одного из этих дворов, а количество деревень уменьшилось вдвое и они измельчали до 2 дворов в среднем на деревню, и не было ни сдваивания деревень, ни стягивания крестьян в опустевшее село — в стиле Нахабина или Пушкина (стр. 102). Еще более ясный пример пренебрежения троицких властей к рационализаторской политике с поселениями находим в селе Ивашкове Ростовского уезда, которым мы и закончим разбор этого второго типа эволюции селений. Ивашково не укрупнилось и до 1592 г., когда при нем было описано то же число селений, что и в 1563 г. — 26 селений, а в нем самом зарегистрировано 12 дворов крестьян. В 1617 г. в Ивашкове оказалось всего 9 дворов, а в сохранившихся из 5 деревень с 128 дворами (1592 г.) 10 де-

ревнях вместо 54 было 26 дворов — измельчание деревень более чем на 50% и сведение их к почти карликовой норме (с 5.4 дворов до 2.6 дворов). Весьма показательно, что и описание 1629—1631 гг. застало эти деревни не тронутыми ни «припуском», ни «сведением вместе» ни с селом, ни одна с другою, а между тем крестьянских и бобыльских дворов на село и деревни (автор дает только общую цифру) приходилось 37: отчислив на село даже только те 9 дворов, которые были в нем в 1617 г., получим для деревень почти прежнюю цифру — 28 дворов. С такими auspiciis углубляясь в XVII в. наши ивашкинские деревеньки. Станным образом, автор вынес из всего этого впечатление, что опустошение смутного времени сыграло здесь «роль реорганизатора селений на новых началах». Обрисованное положение создает у нас обратное впечатление в отношении деревенского вопроса — впечатление полного застоя на старых началах.

Наконец, третий этап развития изученных автором монастырских и церковных владений представлен селами Петровским (стр. 74), Никоновым (стр. 76), Козиным (стр. 77), Дмитриевским-Гузеевым (стр. 78) и Андреевским (стр. 79). Это тип нейтральный, для которого характерно сильное разорение в начале XVII в., очень медленное возрождение жизни вообще и художочное развитие в дальнейшем с попытками позднего восстановления и некоторых из бывших деревень. За их развитием наблюдение историка должно идти, по-видимому, в XVIII век, чтобы получить представление о рационализаторском элементе в этой эволюции.

Мы остановились так долго на фактическом материале С. Б. Веселовского по XVII в., чтобы показать, что он во всяком случае недостаточен, чтобы строить на нем общие выводы относительно планомерной владельческой реконструкции селений «на новых началах» и в процессе «реставрации» после «смуты». Писцовый материал по XVII в. настолько обилен (и настолько известен автору), что изучение нашей проблемы, если не связывать его с крохами, которые имеем от XV—XVI вв., возможно будет для XVII в. в значительно более крупном масштабе и потому на твердых основаниях. Тогда только, в частности, можно будет судить и о том, насколько «разорение первых десятилетий XVII в.» (не «завершило процесс уничтожения деревень-хуторов, начатый владельцами в конце XV в.»), а действительно широко открыло путь к массовой перестройке частновладельческого хозяйства и на территории церковных, и на территории светских земельных владений в духе такой его рационализации, которая отразилась бы и на характере селений, и на строе их внутренней жизни.

Постановка же этого вопроса относительно XV—XVI вв. и его решение, какое предлагает С. Б. Веселовский в своей интересной работе, при сопоставлении их со скудными и не говорящими в подавляющем своем большинстве в пользу концепции автора данными эпохи «реставрации» XVII в., вызывают сомнения и возражения, которые мы и сделали попытку собрать в настоящем заметках.

Как видит читатель, мы подошли к работе С. Б. Веселовского, элиминировав, по возможности, вопрос о методологической основе ее, достаточно разъясненной в предисловии, и в предлагаемом разборе ее держались преимущественно проверки фактической стороны исследования автора, его структурных особенностей и соотношения составных его частей в плане имманентной критики и не выходя за пределы истории лишь тех разновидностей сельского поселения, которые изучаются самим автором. Всякая иная постановка завела бы нас чересчур далеко; слишком много больших и малых соседних проблем попутно затрагивает автор, и они заслуживали бы каждая особого критического разбора, если бы затронуты были, иной раз, не так бегло, как, например, вопросы о колонизации, о земельной общине, опричнине и др. Для неискущенного читателя это делает книгу трудноватой. И мы считаем правильным, что редакция ГАИМК сочла нужным до известной степени помочь тут читателю, снабдив книгу критическим предисловием. Но нельзя скрыть, что и оно как предисловие вызывает некоторые возражения и замечания.

Предисловие распадается на две части. В первой «отбрасывается» общая концепция автора, во второй выдвигается как «самая ценная» часть в его работе ее «конкретная часть», т. е. описательная четвертая глава и «открываемое» ею «новое явление экономической истории феодальной Руси» — «владельческое укрупнение селений». Изучая работу С. Б. Веселовского, мы, вслед за автором предисловия, старались оторвать эту частную концепцию С. Б. Веселовского от его общей концепции, но потерпели неудачу: ни та, ни другая не оказались убедительно согласованы с той, далеко не исчерпывающей, суммой фактов, которая не со вчерашнего дня находится, в опубликованном виде, в обороте любого историка. И нам пришлось занять критическую позицию в отношении обеих. Тогда мы снова обратились к предисловию, чтобы себя проверить и, может быть, воспользоваться указанием редакции, как их отделить одну от другой. Это указание там имеется. Но оно, по нашему

разумению, не спасает второй, частной, концепции С. Б. Веселовского. Редакция полагает, что «природа» наблюдаемого автором явления (владельческого укрупнения селений в XV—XVI вв.) не та, которая связывает и роднит у С. Б. Веселовского обе его концепции, а «совершенно иная», — что, как мы понимаем, и обеспечивает этому наблюдению в глазах редакции историческую аутентичность. А именно: «владельческое укрупнение селений — одна из сторон процесса распространения феодальных отношений вширь, процесса включения в сферу феодальной эксплуатации новых групп крестьянства» (стр. 10). Мы видели, что и С. Б. Веселовский рассматривает это явление как одну из сторон процесса распространения феодальных отношений — только не вширь, а, что касается конца XVI и XVII вв., вглубь. И мы это понимаем, хотя и не могли принять такой оценки в отношении к фактам, какими располагает автор. А толкования редакции мы, в свою очередь, не можем принять, потому что (в такой лаконической формулировке) и не понимаем его. Вернее, мы не понимаем, какое отношение имеют факты, собранные в главе четвертой книги С. Б. Веселовского, к «распространению феодальных отношений вширь», и к распространению на какие «новые группы крестьянства»? Если бы в «новооткрытых» фактах дело шло в малейшей степени о «припуске в пашню» или «принесений» черных общинных земель и деревень (или земель и деревень разоряющихся мелких вотчинников и «своеземцев») к селам и деревням феодальных владений (безразлично — волею ли отдельных феодалов или в силу пожалования с верхов феодальной лестницы), — тогда мы поняли бы указание редакции и приняли бы его. Но на дискуссии обращаются совсем иные факты — факты «владельческого» распоряжения деревнями и пустошами и перемещения феодализованных крестьян внутри данного феодального владения. И о каком-либо «распространении» феодальных отношений «вширь», на «новые группы крестьянства», речь тут остается непонятной, без каких либо дальнейших пояснений. Итак, мы хотим сказать, что лаконизм, проявленный здесь редакцией, послужил не в помощь читателю, а породил лишнее недоумение.

Исходя из интересов все того же читателя, необходимо указать и еще на один лаконизм предисловия, который порождает в читателе острую неудовлетворенность. Разумеется в концовке предисловия замечание по адресу заключительной главы труда С. Б. Веселовского, что она «вызывает наибольшие возражения», в частности — своей «трактовкой процессов экономической и политической истории Московского государства в XVI в.». На этот раз иной читатель, может быть, частично

и согласился бы с замечанием редакции. Но в приведенной форме оно ничего не дает читателю, которому остается только или блуждать по девственным дебрям гигантских экономических и политических проблем, приводимых в движение и решаемых автором, без всякого руководства со стороны редакции, или самому, с отрывом от основной линии наблюдения, вооружаться на предмет прочистки прямого пути к правильному их решению. Мы думаем, что если бы предисловие вкратце и хотя бы в совершенно аподиктической форме точно указало бы основные неверные «трактовки» этих процессов и противопоставило бы им свои, правильные, то это, не обременив страницы 10, более чем наполнину оставшейся белой, оказало бы незаменимую помощь читателю.

Обращаясь к первой части предисловия, мы совершенно разделяем категорически отрицательное отношение его автора к теории «извечности частной земельной собственности отдельных крестьян» и вообще к каким бы то ни было видам «робинзонады» в исторической науке. Последнее, отчасти, руководило нами в некоторых возражениях, которые мы ставим С. Б. Веселовскому в наших заметках. Но некоторые формулировки этой части предисловия могут породить в читателе мысль, что они (эти формулировки) соответствуют не совсем тому тексту книги, какой лежит перед читателем. Таково, например, замечание о «мифичности» «теории девственных лесов и равнин, колонизуемых славянскими пришельцами» (стр. 8). Правда, нам приходилось отмечать уже одно место в книге, где речь идет о «лесистых местностях» и о «местностях, где лесные массивы были уничтожены уже давно» (стр. 27—28), и о том, что в последних «деревни стояли теснее», чем в первых, и «не перемежались перелесками», а в первых лес находился «обыкновенно» «по за пашням» (это — весьма распространенная формула писцовых документов). Но какая же это «теория»? Такова же формулировка замечания, что С. Б. Веселовский «пытается доказать извечность частной земельной собственности отдельных крестьян». Автор не пытается доказывать отсутствие, а просто отрицает сельскую общину в отдельных местах (стр. 107) книги и, как будто, предполагает ее существование в других (стр. 51, 87, 98, 119). Но попыток не то что доказывать, а и просто утверждать право частной земельной собственности отдельных крестьян мы в книге не заметили: во всяком случае на стр. 29 автор сам рассказывает такой яркий случай жилецкой чехарды в одной деревне на протяжении полувека, который начисто отбивает охоту у читателя и на мгновение соблазнить концепцией частной земельной собственности подобного крестьянина.

Впрочем, эти места предисловия — с точки зрения рабочей помощи читателю — не столь существенны, чтобы ставить их в ряд с указанными выше чертами второй его части.

Наконец, к таким изданиям, как работа С. Б. Веселовского, которым и материал и самая его подача придают определенно выраженный историко-географический уклон, необходимо прилагать карту.

Таковы недоумения и замечания по поводу 139 вып. Известий ГАИМК в целом, которые мы считали необходимым здесь привести, имея в виду интересы широкого читателя книги, трактующей судьбы русской деревни и написанной таким большим знатоком русского феодального строя и быта, как С. Б. Веселовский.